

НА 1928 ГОД

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА
КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ**

Гениальности и Одаренности

(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

посвященный вопросам патологии гениально-одаренной личности, а также вопросам одаренного творчества, так или иначе связанного с психопатологическими уклонами.

Клинический Архив Гениальности и Одаренности доступен не только специалистам, но и тем читающим кругам, которые интересуются пограничными областями психопатологии и биологии, как то: врачам, юристам, педагогам, общественникам, инженерам, художникам, литераторам, музыкантам и пр.

Проф.
(Сар.
Сопи
В. И
град
W 1
(Мос
И. Г
М. Г
К. Г

В. Я. Вольфсон (Кыштымск. завод), Д-р М. Соловьева (Саратов), М. М. Гаврилов (Киев).

Выходит 1 том (4 выпуска) в год
под редакцией Д-ра Г. В. Сегалина.

Имеются комплекты 25, 26, 27-го года.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на год 5 руб., на 1/2 года 3 руб.

Подписка и склад издания: „Практическая Медицина“, Ленинград,
улица Лассаля, 2.

Все справки у редактора д-ра С е г а л и н а, Свердловск (бывш
Екатеринбург) улица Вайнера, № 46.

4-й год издания

КЛИНИЧЕСКИЙ АРХИВ
ГЕНИАЛЬНОСТИ И ОДАРЕННОСТИ
(ЭВРОПАТОЛОГИИ)

ВЫПУСК ВТОРОЙ
Том IV—1928 г.

Выходит под редакцией
Д-ра Г. В. СЕГАЛИНА

XX 452 Д-р И. Б. ГАЛАНТ
12

ПСИХОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
Максима Горького



СКЛАД ИЗДАНИЯ «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
ЛЕНИНГРАД, УЛ. ЛАССАЛЯ, 2,
ИЗДАНИЕ РЕДАКТОРА

КАНИЧЕСКИМ АРХИВ

ЛЕННАДРНОСТИ И ОДРЕЖНОСТИ

(ЭВРОПАТОЛОГИ)

ВЫХОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
Д. П. Т. В. СЕЛЕНА

ВЫХОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
Д. П. Т. В. СЕЛЕНА

МАКСИМУ ГОРЬКОМУ

К 35-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ

ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ.

Автор.

ПСИХОЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ

Максима Горького

О г л а в л е н и е

	стр.
Предисловие	5
У. Галлюцинозы	7
Вступительное слово	7
1. Что такое галлюцинация	7
2. История возникновения термина галлюциноз и раз- витие учения о галлюцинозах	10
3. Общая всем галлюцинозам основная черта	12
4. Подразделение галлюцинозов	13
5. Острые галлюцинозы (Wernicke)	13
6. Интоксикационные галлюцинозы	16
7. Острый галлюциноз пьяниц (Wernicke, Bonhöffer)	20
8. Галлюцинозы при инфекциях (Bonhoeffer)	
и галлюциноз сифилитиков (Plant)	25
9. Алкогогаллюциноз (Галант)	26
II. Галлюцинирующая женщина в изображении Максима Горького	34
III. Случай Константина Миронова. К учению об эпизоди- ческих сумеречных состояниях (Kleist)	51
V. Пиромания. Психопатологический и клинический этюд	71
1. Как понял Крепелин проблему пиромании	71
2. Пассивная пиромания	72
3. Активная пиромания	75
4. Этиология активной пиромании	82
5. Горький о пиромании	91
V. Параноя в художественном изображении Максима Горького	93
VI. Невроз навязчивых состояний	100

СТАВКА

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Беллетристика очень богата изображениями всевозможных психопатических личностей и всякого рода душевно-больных людей. Объясняется это явление психологически тем, что авторы, желая действовать на воображение и фантазию читателя и приковать всецело его внимание, рисуют не обыкновенных, повседневных людей, а людей „интересных“, „чудовищных“, „героев“. Необходимость рисовать в беллетристических произведениях необычайных людей дошла до того, что действующих лиц романов, повестей, рассказов и т. д., кого бы они из себя не представляли, так и принято называть *героями*, и героев, чудовищных нередко по приписываемым им душевным качествам, действиям и поступкам, так и не удалось вывести из беллетристики, несмотря на протест писателей реалистов, вылившийся в знаменательных словах Густава Флобера: *Pas de monstres, pas de héros* (ни чудовищ, ни героев).

Надо, однако, признаться, что, с другой стороны, старания писателей-реалистов привить литературе доподлинный реализм увенчались успехом, и величайшие свои триумфы праздновал реализм в русской литературе. И этот реализм показал себя в изображении душевных болезней русскими писателями не менее блестяще, чем при изображении любых других явлений человеческого мира.

Лавры великого художника-реалиста, рисовавшего с необычайной правдивостью и можно было бы сказать с научной точностью различные психопатические состояния и душевные болезни принадлежат безусловно *Максиму Горькому*. Читая такие произведения Горького, как «Голубая жизнь», «Испытатели», «Рассказ об одном романе» и т. д. психиатр не только узнает здесь описание известных ему из учебника психиатрии душевных болезней, но углубляет свои знания благодаря особенной демонстративности описанных случаев и удачному глубокому анализу болезненных состояний душевной жизни нарисованных больных. Помимо того, психиатр получает огромное эстетическое наслаждение, читая психиатрические рассказы Горького, и любовь психиатра к своей науке усиливается при этом, делается сознательной и глубже и связывает его нераз-

дельными узами со своей наукой, побуждая его способствовать дальнейшему развитию своей науки.

Таковы те основные причины, которые побудили меня представить психиатрические рассказы М. Горького в чисто научном психиатрическом свете и издать психиатрические эти статьи отдельной книгой. Причем я включил в число этих статей для лучшего понимания описываемых Горьким душевнобольных и психопатических личностей одну статью, как бы «пояснительного» характера. Статья эта, стоящая во главе книги, дает историю развития понятия «галлюциноз» и описание известных до сих пор форм галлюциноза, облегчая, таким образом, понимание статьи „Галлюцинирующая женщина в изображении М. Горького“.

Обо всем другом скажет читателю сама книга.

Ив. Галант.

Москва. Май. 1928 г.

И. Галлюцинозы.

Вступительное слово.

Существует мнение, будто бы галлюцинация есть элементарный феномен, играющий второстепенную лишь роль при развитии душевных недугов и вряд ли заслуживающий, поэтому, больше внимания чем любой другой симптом психических болезней. Ганнушкин выражает эту мысль в своей книге „Острая параноя“ следующим образом: „... мы ... не можем не указать, что, по нашему крайнему разумению, такой элементарный психопатологический феномен, как галлюцинация, никоим образом не может служить критерием не только для выделения особых форм (как выделение формы галлюцинаторного помешательства), но даже для дальнейшего подразделения уже выделенных форм (напр., подразделение параной острой или хронической—на галлюцинаторную и простую)“. (Стр. 97).

Однако, стоит вникнуть в глубь проблемы галлюцинаций и присмотреться к ходу исторического развития психиатрии, клинической и теоретической, чтобы легко убедиться, что с галлюцинацией дело обстоит не так просто, и галлюцинация весьма нередко не есть обычный симптом душевного заболевания, но чуть ли не *целая* болезнь, вынудившая у передовых психиатров новую терминологию, в которой слово *галлюциноз* играет далеко не подчиненную роль. Существует в современной психиатрии целое учение о галлюцинозах, с которыми ознакомить читателя считаю здесь необходимым.

1. Что такое галлюцинация?

Прежде чем перейти к основному интересующему нас вопросу о галлюцинозах, следует, хотя бы в самых общих чертах, выяснить, что такое галлюцинация, каковы ее особенности, специфические свойства и в чем состоит демоническая ее сила, творящая ex nihilo целый душевный мир, покоряющий себе личность и заставляющий ее действовать во имя небывалых фантомов, так что больной, превращающийся в непонятный для нас галлюцинанта, действует демонически, сверхъестественно, дьявольски...

Неправда ли, трудно поверить, что феномен, совершающий непонятным для кого бы то ни было образом настоящий переворот в жизни личности и пользующийся для этой цели буквально ничем, вопреки принципу: „Ex nihilo nihil fit“... так таки и есть элементарный феномен!..

Мы привыкли думать, что наша душа всецело черпает жизненные свои соки и обычное, повседневное свое содержание из высшего мира, одушевленного и неодушевленного, который она своеобразно обрабатывает, переваривает, ассимилирует и превращает в свое личное я. При галлюцинациях же мы встречаемся с совершенно обратным явлением. Не внешний мир воздействует на душу, а душа, одухотворенное я, реагирует на какой-то не существующий мир, который она тем не менее воображает существующим вне себя и вызывающим ее на активное действие, на деятельность... Неужели же остается еще возможность думать, что галлюцинация есть элементарный феномен?.. Элементарных феноменов в психической жизни так мало!...

Хотя мы усматриваем в галлюцинациях восприятия, которым не соответствуют раздражения извне (*Hallucinationen sind Wahrnehmungen ohne entsprechenden Reiz von aussen*. Bleuler, *Lehrbuch der Psychiatrie* S 41. Berlin, Springer 1916), мы не хотели бы ограничиться этим определением галлюцинаций Bleuler'а, с которым при незначительных вариациях совпадает много других определений галлюцинаций¹⁾. Не потому, чтобы это определение было неправильно. Но оно, по нашему мнению, недостаточно, т. к. оно ограничивается одним только внешним, так сказать, признаком галлюцинации, его материальной, физиологической стороной, не объясняя явления психологически и психопатологически, что для психиатра, конечно, представляет главный интерес в явлении, и без него оно для него бесценно.

Постараемся же понять психологически явление галлюцинации, в зависимости от обуславливающих его психопатологических причин. Lelut определяет галлюцинации, как идею проецированную наружу. Это краткое и содержательное

1) Так, напр., Корсаков определяет галлюцинации следующим образом: „Обманами чувств или мнимощущениями, или иначе галлюцинациями в широком смысле слова, называется появление в сознании представлений, соединенных с ощущениями, соответствующим таким предметам, которые в действительности в данную минуту не производят впечатления на органы чувств человека. Так, галлюцинирующий может видеть пред собой знакомого, которого совсем нет в это время налицо, слышать пушечные выстрелы, которые не существуют и т. д.“ (Корсаков, С. С. Курс психиатрии. стр. 154. Москва 1901).

определение галлюцинаций может сделаться исходным пунктом для дальнейшего психопатологического изучения галлюцинаций.

Какого рода идея способна вызвать галлюцинацию? Очевидно, не всякая. Трудно себе вообще представить, как идея способна творить несуществующую реальность так, чтобы она, как яркая, истинная действительность, представлялась нашему телесному оку и всем нашим другим чувствам. Такого рода явление до того загадочно, что многие психиатры так и не представляют себе, чтобы галлюцинация состояла в одной только проекции идей во внешнем мире и происходила *вне* периферических органов чувств. По их мнению при галлюцинациях непременно совершаются во внешних, периферических органах чувств процессы, соответствующие нормальному восприятию предметов внешнего мира. Однако, если приходится согласиться с таким мнением, т. к. мы действительно не в состоянии исключить какие бы то ни было эндогенные процессы в органах чувств при галлюцинаторных состояниях, то, с другой стороны, известные случаи галлюцинаций при совершенно разрушенных органах чувств, что доказывает возможность галлюцинаций вне всякой связи с периферическими органами чувств. Если же органы чувств нормальны, и мы допускаем в них процессы, которые имели бы прямое отношение к самому факту галлюцинаций, то эти процессы, каковы бы они не были, недостаточны для объяснения возникновения галлюцинаций, в виду именно отсутствия реального предмета во внешнем мире, от которого исходило бы соответствующее восприятию раздражение.

В самом деле, допустим, больной галлюцинирует огромную змею, видит ее во всей ее устрашающей величавой и грозной осанке, слышит ее свист и шипение, чувствует ее запах и т. д. Допустим, что при этом в глазах галлюцинирующего и в других его органах чувств совершаются эндогенные изменения, стоящие в связи с галлюцинацией змеи. Т. к. галлюцинируемый объект во внешнем мире не существует, то такие эндогенные процессы объяснению галлюцинации не способствуют, и мы попрежнему недоумеваем, как можно видеть змею там, где ее нет?

И старый наш вопрос остается в силе. Как же идея, в данном случае идея змеи, порождает настоящую, всем органам чувств ощущаемую змею, хотя в поле действия органов чувств большого таковой совершенно не существует? Где та сила, та специфическая энергия идеи, делающая ее способной на такой подвиг? Какова специфическая натура идеи, превращающая несуществующую абстракцию в реальную действительность?...

Есть на этот вопрос один единственный ответ: идея, порождающая галлюцинацию, это не просто идея, а идея-желание (*Wunschidee*), и не просто идея-желание, а *идея-страсть*, т. е. идея, которой руководствует сильная страсть, страсть, стремящаяся с неимоверной силой к осуществлению. Лишь непокорное желание, стихийная страсть способны вызвать в жизнь лелеянные фантомы и облечь их в живые формы, перетянув скелет отвлеченной идеи мясом и кожей реальной действительности. При галлюцинациях исключительным властелином является принцип желания, пагубный свое выражение у немцев в изречении: «*Der Wunsch ist der Vater des Gedankens*» (желание—отец мысли), а у французов в двухстишии:

Si ce monde aveugle a un père
C'est l'insatiable desir ¹⁾
(Frank Grandjean L'epopée du Solitaire).

Одно только страстное желание и способно вызвать идею, а вслед за ней, в патологических условиях, осуществление ее путем галлюцинаций, если реальное осуществление невозможно. На этом неопровержимом факте я хочу оборвать здесь мои рассуждения о галлюцинациях, с намерением продолжить их позже при изложении теории аллогаллюцинизма. Теперь же перейдем к изучению самой проблемы галлюцинозов.

2. История возникновения термина галлюциноз и развитие учения о галлюцинозах.

Колыбель термина галлюциноз есть учение о параное, острой и хронической, на почве которого выросло и само учение о галлюцинозах.

В то доброе старое время, когда параноя представляла собой чуть ли не 90% и больше всех душевных заболеваний в эту всеобъемлющую группу заболеваний входило много психозов, на авансцену которых выдвигались галлюцинации и до того овладевали всем существом больного, что некоторые авторы невольно прибегали к слову «галлюцинация», чтобы охарактеризовать им частный случай заболевания параноей, избыточней галлюцинациями. Так появилась: *Paranoia hallucinatoria acuta*—острая галлюцинаторная параноя—Mendel²⁾

¹⁾ Если этот слепой мир имеет родителя, то это—ненасытное желание.

²⁾ Mendel. Die Manie 1881.—Mendel, Verrücktheit. Paranoia. Real-Encyclopädie von Eulenburg 1883—1888.—Mendel. Ein Beitrag zur Lehre von den periodischen Psychosen. Allgem. Z. f. Psychiatrie. Bd. 44. 1888.—Mendel. Leitfaden der Psychiatrie. Stuttgart 1902.

Но уже до Mendel'a многие авторы всячески старались с одной стороны выделить совершенно из параной те ее формы, которые отличались обилием галлюцинаций, или оставить их в группе параной, отличив их от других параноальных заблуждений приложением прилагательного «галлюцинаторный». Там где Westphal¹⁾ говорил о параное, Hertz²⁾ усматривает галлюцинаторное помешательство, и ученик Hertz'a. Theodor Feaux³⁾ опубликовал диссертацию: «Halluzinatorischer Wahnsinn» (галлюцинаторное помешательство), понимая под этим помешательством определенные случаи острой параной. Позже Scholz (1880)⁴⁾ употреблял термин «halluzinatorische Verrücktheit», halluzinatorische Verwirrtheit, а Kretz (1884)⁵⁾ различал в острой параное — halluzinatorisch-wahnhaften Prozess и Wahnhaft—halluzinatorischen Prozess». Krafft—Ebing⁶⁾ не признает острой параной и говорит о «halluzinatorischer Wahnsinn mit Bewusstseinsstörungen» (галлюцинаторное помешательство с расстройствами сознания). Говорили также о галлюцинаторной мании (Mendel см. в.), галлюцинаторном бреде, галлюцинаторной спутанности и остром галлюцинаторном психозе (Konrad, Pobiedin, Séglas, Chaslin, Fernand, Farnarier, и друг.)⁴⁾.

Из всего вышесказанного видно, что большинство авторов, занимавшихся изучением параноальных психозов, чувствовало потребность подчеркнуть существование галлюцинаций при параное и выдвинуть этот симптом на первый план, отметив

1) Westphal. Ueber die Verrücktheit. Bericht über die psychiatrische Sektion der 49 Versammlung deutscher Naturforscher u Aerzte in Hamburg. 1876. Allgem. Ztschrift f. Psychiatrie 34. 1878.

2) Hertz. Ist die Ausdrucksweise: „Verrücktheit, primäre Verrücktheit“ in dem jetzt gebräuchlichem Sinne in unserer Technik einzusüßern oder nicht? Vortrag im psychiatrischen Verein Bonn am 11 Nov. 1876. Allgem. Ztschrift. f. Psychiatrie 34. 1878.

3) Feaux. Th. Ueber den halluzinatorischen Wahnsinn. Jnang. Dis. Marburg.

4) Scholz. Ueber primäre Verrücktheit. Berl Klinische Wochenschrift 1880 —Scholz. Lehrbuch der Irrenheilkunde. Leipzig 1892.

5) Kretz. Bemerkungen zur akuten Verrücktheit. 15 Versammlung der südwestdeutschen Irrenärzte in Karlsruhe am 21 9 22 Oktober 1882. Allgem. Z. f. Psychiatrie. 40 1884.

6) Krafft-Ebing. Psychosis menstrualis. Stuttgart 1902. Krafft-Ebing. Lehrbuch der Psychiatrie. 2 Aufl 1883 —3 Aufl. 1888—6 Aufl. 1897.

7) Konrad. Zur Lehre von der akuten halluzinatorischen Verworrenheit. Archiv f. Psych. 16. 1885—Pobiedin. zur Lehre von den akuten halluzinatorischen Psychosen. Allgem. Z. f. Psychiatrie 59. 1902—Séglas. La paranoia Ar. de Neurologie. 13. 1887.—Chaslin. La confusion mentale primitive. 1895.—Farnarier La psychose hallucinatoire aiguë. Paris 1899. Thèse.

наличие галлюцинаций в психозе в самом же обозначении болезни. Это казалось особенно необходимым, т. к. галлюцинации придавали картине болезни совершенно другой характер. и психоз с галлюцинациями существенно отличается от такого без галлюцинаций, будь оба психоза «острая или хроническая параноя». В этом факте и заключается то стремление авторов разбить параполярные психозы на галлюцинаторные и такие без галлюцинаций, стремление, с которым мы только что познакомились в его последствиях.

Однако, не во всех его последствиях. Одно из самых главных последствий стремления авторов преобразовать через чур обширную и потому бесформенную и бесхарактерную группу параной представляет собой выделение из параной особой группы *галлюцинозов* Wernicke'ом ¹⁾. Он первый заговорил об острых галлюцинаторных психозах, обозначая их терминами: *галлюциноз и острый галлюциноз*. С легкой руки Wernicke, термин галлюциноз в психиатрической литературе вкоренился, и особенно Bonhoeffer ²⁾ старался отграничить и строго охарактеризовать группу галлюцинозов. Впоследствии Галант ³⁾ расширил группу галлюцинозов, описав особый вид алгопатического галлюциноза под термином алгогаллюциноз, и в настоящее время представляется возможность сопоставить различные галлюцинозы и изучить их в индивидуальных их особенностях и свойственных им тонкостях.

3. Общая всем галлюцинозам основная черта.

Под галлюцинозом понимают, в отличие от других галлюцинаторных состояний, такие галлюцинаторные заболевания, при которых не замечаются серьезные, бросающиеся в глаза расстройства мышления, рассудительности, ориентации. Бывают даже случаи галлюцинизма, далеко нередкие впрочем, при которых упомянутые функции остаются незатронутыми, или даже обогащены разумным критическим обсуждением болезни и связанных с нею перемен в душевной жизни больного. Интеллектуальное развитие индивида ничуть не страдает под влиянием галлюциноза, и исход в слабоумие бывает лишь в очень редких и весьма неблагоприятных условиях: например, если болезнь развивается у индивида слабоумного по природе. В таком случае галлюциноз может способствовать абсолютному

1) Wernicke grundriss der Psychiatrie Leipzig 1900.

2) Bonhoeffer in Aschaffenburg's Handbuch der Psychiatrie Deuticke Leipzig u Wien 1912.

3) Галант, Alghalucinosis Berlin 1920

и быстрому затемнению умственных способностей и исходу в кататонию.

Если оставить в стороне только-что упомянутый общий отличительный признак галлюцинозов, то галлюцинозы бывают весьма разнообразны как по этиологии, так и по характеру галлюцинаций, которые заполняют их содержание, и особенно по реакциям, которые галлюцинации вызывают в зависимости от того какого рода эти галлюцинации и в каких органах они сосредоточены.

4. Подразделение галлюцинозов.

Галлюцинозы можно подразделить, руководствуясь этиологическим моментом, на:

1. Острый галлюциноз (на конституциональной почве) (Wernicke).
2. Интоксикационные галлюцинозы.
3. Острый алкогольный галлюциноз (Wernicke, Bonhoeffer).
4. Галлюциноз сифилитиков (Plaut).
5. Галлюцинозы при инфекциях (Bonhoeffer).
6. Алкогогаллюциноз (Galant).

5. Острые галлюцинозы.

Острый галлюциноз Wernicke, который был выдвинут его автором впервые в противовес отрицаемой им острой параной, до того сходен в некоторых своих деталях с интоксикационными галлюцинозами, в частности, с острым алкогольным психозом, что стоит изучить основательно эти последние, чтобы быть точно знакомым с острым галлюцинозом Wernicke. Следует только иметь при этом в виду, что острый галлюциноз, неинтоксикационного происхождения, коренится в особенном предрасположении к душевным заболеваниям, передающимся в семье из поколения в поколение, и заболевание носит явно конституциональный характер.

Примером острого галлюциноза мог бы служить следующий случай Fatpari га, который я цитирую по *Ганнушкину*: «Острая параноя» стр. 147.

Молодая девушка, 23 лет, поступает в лечебницу 19 марта 1890 г. Нет никаких упований на наследственное отягощение 1), нет также упований на какую-либо причину для заболевания в личной жизни больной. Заболевание началось недели две тому назад. В течение

*) Это, конечно, не исключает допущения, что болезнь возникла на конституциональной почве, в виду полного отсутствия каких бы то ни было других этиологических моментов.

двух дней больная слышала какой-то свист в ушах (интересно отметить, что при остром галлюцинозе пьяниц слуховым галлюцинациям предшествуют элементарные обманы слуха в виде свиста, завывания ветра и т. д.), затем внезапно появились слуховые галлюцинации; больная слышит голос своего соседа, о котором она думала за последнее время, но с которым ей никогда не приходилось разговаривать. Голос соседа грозит ей: „тебя убьют“ или „ты умрешь“ громким голосом повторяют за ней все, что она делает: „смотрите, она меняет рубашку“, говорят в то время, как она раздевается; ее заставляют делать такие вещи, которых она вовсе не хотела бы делать—есть уголь, утаскивать потихоньку кусочки хлеба и т. д.; „ты увидишь.—говорит ей,—я тебя заставляю делать все, что захочу“. Скоро становятся слышными еще голоса двух женщин, которые берут на себя защиту больной; это—голоса матери и тетки того молодого человека, голос которого стал слышаться первым. Больная называет одну из этих особ госпожей сомнамбулой; она, больная, не может ничего сделать, ничего сказать без позволения этой госпожи к которой она обращается каждый раз, как ее о чем-нибудь спрашивают. „Я не помню,—отвечает она, когда ей вдают какой-нибудь вопрос,—я сейчас спрошу у сомнамбулы“; с этой последней она беседует очень часто, первый день этот внутренний голос удивил больную, но в настоящее время (в лечебнице) больная находит вполне естественным такого рода разговоры. Прибавим, что наряду с слуховыми галлюцинациями существовали довольно резкие галлюцинации зрения (она видела зверей, которые должны были ее пожрать, видела рай), существовали очень неприятные галлюцинации обоняния и вкуса (пицца имеет неприятный вкус, имеет запах каловых масс), существовало расстройство общего чувства.—Скоро характер голосов меняется, они делаются утешительными, обещают больной вознаграждение за ее теперешние страдания, восхваляют ее за ее доброе сердце. Мало-по-малу голоса становятся менее интенсивными, появляются реже и, наконец, совсем исчезают немного менее, чем через три месяца после начала заблуждения.—После пяти-месячного пребывания в лечебнице больная выписывается 19 августа того же 1890 г., совершенно здоровая как физически, так и психически.

Другую картину представляет следующий случай *psychose hallucinatoire aiguë* (острый галлюциноз) того же Farnarier.

С. Ж., замужняя женщина, 52 лет, без определенной профессии. Поступила 7 апреля 1899 г.—На наследственное предрасположение указаний нет. В юности больная перенесла тифозную горячку, которая сопровождалась бредом. У больной было три беременности: первая беременность окончилась выкидышем на 3 месяце, вторая—была искусственным способом прекращена на 5 месяце, третья окончилась родами в срок, но ребенок ум.р через 4—5 часов после рождения. Прибавим, что у больной наблюдается небольшое дрожание в пальцах, что у нее это всегда было, и что ее отец страдал таким же дрожанием.—Приблизительно за три месяца до поступления в лечебницу, у этой женщины, до сих пор совершенно здоровой, было замечено изменение настроения, она сделалась скучной и подозрительной, она стала говорить, что на улицах за ней следят, что про нее дурно говорят; доказать, однако, что уже тогда у нее были галлюцинации, было нельзя. Однажды она хватается за нож, чтобы защитить мужа, которому, как ей кажется, что-то угрожает; другой

раз на бульваре она видит за деревом человека, который, как ей показалось, имел какие-то дурные намерения. Большую посылку в Ниццу, чтобы рассеяться, где она довольно спокойно проводит два месяца; но едва возвратившись, две недели тому назад, в Париж, она опять поддается бредовым сопоставлениям; галлюцинации делаются очень интенсивными, они держат больную в постоянном страхе и беспомощности, и больная, под их влиянием, начинает высказывать целый ряд полиморфных бредовых идей с характером систематизации. При поступлении в заведение у больной можно было констатировать массу галлюцинаций; игра ее физиономии передает равнообразие тех чувств, переживать которые заставляют больную слуховые обманы. Ее привезли сюда—говорит больная—потому, что ее хотят выдать за сумасшедшую, впрочем, она и сама не была против помещения в лечебницу, так как она таким образом спасет весь мир; ее гипнотизируют: того, кто всячески ее мучает, кто хочет надругаться над ее честью, кто хочет лишить ее жизни, зовут, как сказали ей голоса, Ц. Понтикоболи; он, этот Понтикоболи, хотел бы на ней жениться, но она-то этого не желает, так как это злой человек, да кроме того, она уже замужем, за Л. Вивини, который есть бог. М. С.—так зовут мужа больной—это ее брат, и его только выдают за ее мужа; он—М. С.—вовсе не разбойник, разбойник же Ц. Понтикоболи, который распял Л. Вивини. Кроме того, Понтикоболи сделал ей еще много неприятного: положил динамиту около дверей в ее комнату, чтобы заставить ее прыгать, хотел ее соблазнить, чтобы она родила что-то такое среднее между двумя полами (больная не понимает, что это может значить, но голоса по крайней мере так выражаются).—Будучи 7 лет от роду, она вышла замуж за Л. Вивини, который в то время был егерем; во второй раз она увидела его несколько лет тому назад в Тунисе, где он с стоял в одном из поднов звуков; когда она уезжала из Туниса, он приходил к дому ее брата и играл на кларнете; недавно, наконец, она опять увидела его в Коломбе. Л. Вивини—вовсе не его настоящее имя, на самом деле он—маркиз де Ковэн, посланник в Мадагаскаре.—Ц. Понтикоболи убил Л. Вивини, потому что этот, последний—бог и мой муж; и—дева Мария, и от нас родился мессия, который спасет мир. Когда я уезжала из Ниццы, Л. Вивини присил меня дать ему что-нибудь на память; я ему вынула галстук и сказала ему, что после моего отъезда он найдет этот галстук на моей подушке; он хотел умереть на моей постели; в тот самый вечер, как я уехала, он был обрезан, как израильтянин, и говорил, что это и есть истинная религия, так как я молилась, как израильтянка; после операции ему наложили повязку при помощи моего галстука, мой галстук спас ему жизнь, его кровь смешалась с моей, и вот почему от нас двоих родился мессия.—Больная сделала попытку отравиться водистой настоем пения; потому что она услышала голос одного господина, которого она видела в Ницце, в гостинице, и который ее терпеть не может, т. е. подумал, что она—грязная женщина. Она постоянно разговаривает с Л. Вивини; все, о чем ей нужно ему сообщить, она передает ему при помощи пения; когда он ей отвечает, он тоже поет, иногда по-французски, но чаще по-английски (родной язык больной).—В следующие дни слуховые галлюцинации остаются так же интенсивны как и раньше. Больная находится в постоянном общении при помощи пения с Л. Вивини, но в то время, как его голос напевает ей с тем, чтобы сделать ей добро, чтобы ободрить ее, другой чей-то мужской голос напевает разные оскорбительные вещи, чтобы сделать

ей зло; ей говорят, что она—распутная девченка, что ее соблазнил ее брат, когда ей было только 6 лет, ее упрекают в дурном поведении. В течение последующих недель чувственные обманы становятся менее интенсивными, и система бреда, который находится в тесной связи с галлюцинациями, начинает распадаться. Больная понемногу начинает отказываться от мысли, что она родила мессию, что она дева Мария, что Л. Вивинк—бог, она соглашается, что М. С.—ее муж, и любезно встречает его, когда он приходит навестить ее. Тем не менее, больная еще не покойна, она жалуется на пищу, думает, что ее хотят отравить. ночью он загоразживает дверь в свою комнату, так как боится, чтобы к ней не вошли для того, чтобы обесчестить ее.—В течение августа месяца улучшение продолжается, галлюцинации становятся эпизодическими и уступают место бреду оценки: сиделки как-то косо поглядывают на нее, не оказывают ей должного внимания; дверь, оставленная отворенной, ва на, которую ей предлагают взять, лекарство, которое ей назначают,—все это дает повод к бредовым толкованиям, среди которых сексуальная сфера, повидимому, играет выдающуюся роль. Галлюцинации, впрочем, довольно часто возвращаются: то больная слышит ночью какую-то музыку в углу комнаты, то она видит, как будто во сне, как одна из сиделок полуголая лежит на ее постели и делает циничные жесты; то она думает, что ночью приходили затем, чтобы ее обесчестить, так как она находилась в каком-то оцепенении, что было результатом назначенной микстуры. Впрочем, с тех пор, как галлюцинации стали реже, рассудок больной справляется с бредом, и по временам она сознает болезненность своих сопоставлений. В настоящее время (спустя 8 месяцев после заболевания), вот уже несколько недель галлюцинации совершенно исчезли, и больная стала совершенно спокойной; прежде надменная и задорная, она сделалась теперь оживленной и любезной; она считает, что была больна, принимает за странные выдумки все свои бредовые идеи и теперь, совершенно избавившись от своей болезни, собирается домой. С улучшением психического состояния больной поднялся и вес ее тела. Она была принята с весом 59 килограммов, в настоящее время она весит 76.

Допуская, что этот случай мог быть принят за *Dementia praecox*, острую параною, хроническую параною и т. д., я его, вместе с автором сего случая, нахожу возможным считать острым галлюцинозом, тем более, что случай кончился быстрым излечением.

6. Интоксикационные галлюцинозы.

С интоксикационными галлюцинозами удобнее всего ознакомиться по документам больных и по историям болезни. Я предлагаю следующий документ, заимствованный мной у *Корсакова*: «*Наблюдение одной интеллигентной дамы, принявшей отравляющую дозу атропина*»:

«Приблизительно через четверть часа после того, как я приняла атропин, я почувствовала страшную сухость в горле и в рту и, когда хотела выпить еще, то едва могла проглотить несколько капель. После этого я пробовала писать, но уже не могла—буквы слышались и в то же время от них шли какие-то яркие лучи. Затем

в течение 6-7 часов я лишь смутно помню неприятное ощущение сухости в горле и то, что когда я пробовала встать с места, ноги у меня подкосились, — и я чуть не упала. Когда я немного пришла в себя, то оказалась лежащей на постели. Перед глазами моими были шармы, обитые кретоном с букетами роз, и когда я стала машинально вглядываться в эти розы, то лепестки их стали развеваться и из них выходили, развевывая юбочки, прелестные, маленькие маршизы, пастушки в костюмах Ватто. Это было очень красиво и несколько меня не удивляло. Не помню, сколько прошло времени, когда я услышала шорох и, взглянув по направлению его, увидела свою знакомую (это было на другое утро), которую, как мне казалось — я только что видела во сне и при том — как я заметила — в том платье, которого я раньше на ней не видела.

Я теперь могла уже говорить, между тем как раньше (накануне вечером) язык мне казался каким-то толстым посторонним обруском, и ноги также были как обыкновенно. Я наскоро, кое-как надела платье и встала. Подойдя к туалету, я взяла свои часы посмотреть, который час, но цифры и стрелки (золотые) были в лучах, так что я ничего не могла разобрать. При том оказалось, что цепочка совсем стала другая — вся из изумрудов, от которых шли такие лучи, какие бывают, когда смотришь, прищурившись, на ярко блестящую точку. Вместе с тем, у меня явилась уверенность, что моя знакомая потеряла мою прежнюю цепочку и заменила ее другою. Когда я стала уговаривать ее вернуть мне мою цепочку, я заметила, что у нее вывалились все зубы, и на это было очень неприятно смотреть. Я пошла в гостиную и там на диване чинно сидели двое совершенно незнакомых людей, мужчина и женщина. Хотя я сейчас же была уверена, что они пришли нанимать дачу, но все-таки спросила их, что им надо. Так как они, однако, не обращали на меня никакого внимания, я повернулась эвонить, чтобы велеть их вывести, но когда обернулась к ним, их уже не было. Меня это не удивило, и вообще я об этом даже ничего не подумала. Мне стало весело и я пошла бродить по квартире. Меня поразило, что у всех домашних за ночь выпали зубы, и я поняла что у них были зубы вставные, и очень стыдилась за них. Зубы оказались только у моей маленькой дочери. Вскоре пришел знакомый доктор и у него тоже не оказалось двух передних зубов; мне было очень жалко его, но я не релась сказать ему об этом. Вообще я мало о нем думала, но твердо помнила, что есть вещи, о которых я никому не должна говорить (о попытке самоубийства и о других обстоятельствах, подавших к этому повод), и не скавала. Все, что в то время происходило около меня, казалось мне сном и лишь мои галлюцинации — яркую действительностью, оставившею по себе ясное воспоминание. Когда в тот же день, за обедом, мне подали суп, я увидела, что в нем бегают множество маленьких, ярких пауков, и я, конечно, не стала есть, но не хотела говорить, в чем дело, думая, что пауки только у меня. Однако, взглянув в тарелку в дочне, я увидела, что у нее тоже пауки, а между тем бедный ребенок ел суп. Я сейчас же убрала у нее тарелку. Взглянув на свои руки, я увидела, что между пальцами бегают те же пауки, и, желая их прогнать, я их только давила. Они были также во всех углублениях дивана, на котором я сидела, и на докторе, который пришел вечером; у него по прежнему не было двух зубов, а остальные светились, как изумруды. Пауки преследовали меня до самой ночи, а на другое утро я была совсем здорова. Только от всех блестящих предметов шли лучи, но я уже понимала, что это обман.

Таково типичное течение острого интоксикационного галлюциноза. Мы совсем не встречаем при такого рода галлюцинозе бредовых идей, а исключительно галлюцинации и иллюзии очень разнообразного характера. В данном случае особенно интересны т. н. микроскопические галлюцинации—маркизы, рождающиеся из лепестков роз, красящихся на кресте, которыми обиты ширмы в роде той дюймовочки в сказке *Андерсена*, которая тоже родилась из лепестков розы и была до того миниатюрной девицей, что совершала путешествия на крыльях ласточек ..

Достопримечательны также галлюцинации пауков, характерные особенно для белой горячки, в бреде которой галлюцинации, содержание которых составляют различные маленькие насекомые, играют преобладающую роль. Галлюцинация пауков свидетельствует о том, что между интоксикационным галлюцинозом и другими интоксикационными психозами существует хотя бы очень слабое родство, объясняющееся общностью этиологии.

Аффекты при галлюцинозе ненормальны. Замечается лабильность в аффектах, быстрые беспричинные переходы от одного аффекта к другому, при чем отмечается еще особенная *сенситивность аффектов*—ненужная стыдливость, излишнее сострадание, беспричинная жалость и т. д.

Но зато мы уже в приведенном случае острого интоксикационного галлюциноза наблюдаем те особенности всех вообще галлюцинозов, которые отличают их от других галлюцинаторных состояний: отсутствие расстройств в мышлении, в рассудительности, в способности ориентироваться. Память не изменяет больному и особенно верна галлюцинациям, которые, будучи ярче и особенно интенсивно пережиты, запечатлеваются лучше самой действительности.

Однако не всегда галлюциноз интоксикационной этиологии остается таким типичным, каким мы его видели в предыдущем случае. При хронических отравлениях, где заболевание повторяется неоднократно в различных промежутках времени, галлюциноз теряет свою свежесть, допускает наличие бредовых идей, видоизменяющих интоксикационный галлюциноз, который мы тем не менее, пока расстройств со стороны мышления ориентации, рассудительности и интеллектуальной сферы вообще нет, так и принуждены считать ничем иным, как галлюцинозом.

Вот пример такого отчасти искаженного вида интоксикационного галлюциноза при морфинизме¹⁾.

1) Случай из архива Московской психиатрической клиники, опубликованный Гавнушкиным на стр. 32—34, диссертация: «Острая паранойя».

Больной С., 38 лет, фельдшер, поступил (вторично) в клинику 22/ХІІ-1895 (Наблюдение Ф. Е. Рыбакова—Отец—алкоголик, в пьяном виде былал беспокоен; мать умерла от апоплексии, под конец жизни стала выпивать; брат пил порядочно; одна из родственниц по матери умерла от удара; один из родственников тоже с материнской стороны однажды находился в летаргическом состоянии. С 1885 г. больной начал порядочно выпивать. С этого же года, по поводу болей в подложечной области, стал злоупотреблять впрыскиваниями морфия. С 1886 г. начал впрыскивать морфий с кокаином; дневная доза морфия доходила до 0,6, а кокаина—до 0,3. В 1887 г. поступал в специальные заведения для того, чтобы отвыкнуть от наркотических. По выходе из лечебницы, лишь в течение короткого времени не злоупотреблял морфием и кокаином, но и за этот срок часто выпивал, а иногда принимал *t-га ориі*; затем опять вернулся к морфию и кокаину. В последующее время, до 1895 г. больной несколько раз поступал в лечебницы ²⁾, но, обыкновенно, после пребывания в них, не прибегал к наркотическим в течение очень короткого времени (самое большое—2 месяца); иногда, повидимому, принимал и хлоралгидрат. За последний год водки почти совершенно не пьет. За последнее время дневная доза дошла до 3-4 гран морфия и такого же количества кокаина. Недели две тому назад, после того как больной по ошибке принял слишком большую дозу кокаина, у него появились слуховые галлюцинации: стали слышаться голоса, то очень громкие, то, наоборот тихие, неясные; издали больному кто-то говорил: «морфий, кокаин». На ряду с этим развился резко выраженный бред преследования, больной стал ко всему прислушиваться, говорил, что против него составлен заговор, в котором участвует много разных лиц, что его, больного, скоро вышлют из города. Б-ой не раз упоминал о том, что председатель управы и земский врач строят ему разные козни, называют его морфинистом и всячески стараются избавиться от него теми или иными путями, не погнушаются даже убить его. Свою сожительницу он также подозревал в том, что и она участвует в составленном против него заговоре. Последнее время он все боялся, вскакивал по ночам, смотрел в окна, говорил, что за ним приехали на лошадях чтобы схватить его и отвезти в лечебницу, где земский врач отравит его. По дороге в Москву уверял, что все кондуктора перешептываются между собою, упоминают его имя, называют его кокаинистом; чтобы расположить кондукторов в свою пользу, больной давал им щедро на чай.—*Status praesens*: Больной явился в клинику с просьбой защитить его. Находясь в амбулатории, высказывал подозрение, что его может кто-нибудь подслушать. Подозрительно относится к своей сожительнице. Спрашивает, не был ли здесь в клинике кто-нибудь, напр, земский врач из того уезда, где он служит. Думает, что на него могут наклеветать. Ему часто слышится голос, который знает всю его интимную жизнь. Отзовав врача в отдельную комнату, тайно сообщил ему, что ночью неизвестный голос говорил ему, что в клинике его отравят кокаином с целью посмотреть, в каком состоянии находится его мозг.—«Действительно это может случиться или нет?», спрашивает больной.—Внутренние органы в порядке. Зрачки равномерны, средней

²⁾ Первое пребывание больного в клинике описано Ф. Е. Рыбаковым [Маньяковский симптом хронического кокаинизма «Медицинское обозрение» 1896 г.] по поводу галлюцинаций общего чувства; бредовых идей у больного в то время не наблюдалось.

величины. Коленные рефлексы несколько повышены. В руках—дрожание. В языке—фибрилярные подергивания. Под кожей груди и плеч чувствует как бы присутствие раскаленных маленьких шариков.—Кокаин был снят сразу, морфий же продолжали вприскивать до 28 декабря (1/4 1/10 гр.). Со времени поступления в клинику, слуховые галлюцинации исчезают, и больной начинает уже сомневаться в правильности своих бредовых сопоставлений; однако, в течение первых дней пребывания в клинике больной к некоторым из своих бредовых идей все еще продолжает относиться, как к действительно имевшим место фактам. С 28-29 декабря можно констатировать уже вполне критическое отношение со стороны больного к бывшему бреду и галлюцинациям, каковое отношение сохраняется и позднее. Больной остается в клинике до 21/1-1896 года, и после того в течение 4 месяцев не прибегает ни к морфию, ни к кокаину; затем больной опять начинает вприскивания, постепенно увеличивая дозы. В ноябре 1896 г., после особенно сильных злоупотреблений наркотическими, у больного опять развивается крайне сходная с только-что приведенной картина бреда преследования. В двух-трехнедельный срок, с отнятием морфия и кокаина, бред, как и в предшествующий раз, опять исчезает.

В противоположность к предыдущему случаю острой *интоксикации*, в данном случае хронического отравления, картина галлюциноза значительно меняется, в связи с появлением бредовых идей. Интересно, что в этом случае хронического отравления в стадии острой интоксикации, именно при первом пребывании больного в клинике, как за это ручается *О. Е. Рыбаков*, бредовых идей у больного еще совсем не наблюдалось и констатированы были исключительно галлюцинации вплоть до галлюцинаций общего чувства. При хронических же интоксикациях в связи отчасти с господствующим *аффектом боязни*, как это особенно выражено в нашем случае, отчасти же в связи с содержанием галлюцинаций, появляются бредовые идеи, носящие, впрочем, более случайный характер, чем продуманный систематизированный бред параной, и которые поэтому быстро исчезают. Но и в случаях галлюцинозов на почве хронического отравления основной признак галлюциноза—отсутствие серьезных расстройств в сфере мышления, рассудительности и ориентации—выдвигается особенно ярко и накладывает свою печать на все течение болезни, которая, по отнятии наркотических у больных, сравнительно быстро проходит.

Среди интоксикационных галлюцинозов выделяется

7. Острый галлюциноз пьяниц

как галлюциноз всесторонне изученный, хорошо охарактеризованный и не совмещающийся с общим понятием интоксикационных галлюцинозов. Ему, поэтому, и в классификации галлюцинозов уделяется особое место.

Wernicke, Bonhöffer, Ilberg, Jolly, Bleuler, Kraepelin и многие другие особенно интересовались алкогольными психозами и выделили под различными обозначениями целый ряд специфически алкогольных психозов. *Корсаков*¹⁾, напр., различает следующие алкогольные психозы:

1. Психическая дегенерация картофеля. (*Degeneratio psychica potatorum*).

2. Скоропреходящие алкогольные психозы.

а) Белая горячка. (*Delirium tremens*).

б) Алкогольный транс.

3. Затяжные алкогольные психозы.

а) Затяжной алкогольный или запойный бред.

б) *Paranoia alcoholica*.

с) Бред ревности или бред супружеской неверности.

д) *Dementia potatorum*.

4. Психозы, развивающиеся на почве хронического алкоголизма.

а) *Melancholica potatorum*.

б) *Mania gravis potatorum*.

с) Полиневритический психоз. (*Psychosis polyneuritica alcoholica*).

Нас здесь будет интересовать исключительно острый алкогольный галлюциноз, известный у Kraepelin'a под обозначением „галлюцинаторное помешательство алкоголиков“. Этот психоз, развивающийся на почве хронического *алкоголизма* и отличающийся обилием галлюцинаций, у *Корсаков* не упоминается. Но, очевидно, *Корсаков* случаи острого галлюциноза алкоголиков относил к группе *mania gravis potatorum*, психоз, протекающий весьма бурно при исключительном богатстве галлюцинаций: больной *сильно галлюцинирует*, колотит окружающих, разрушает все, что попадает под руку. Иногда при тяжелой мании у картофеля бывают эпилептиформные припадки“. Кроме галлюцинаций в *корсаковской mania gravis potatorum* ничего нет, что напоминало бы характерную картину острого алкогольного галлюциноза. Все другие симптомы мании картофеля совсем не подходят к картине алкогольного галлюциноза.

Алкогольный галлюциноз отличается характерными галлюцинациями, важными в дифференциально-диагностическом отношении, напр., по отношению к белой горячке В то время как при *delirium tremens* галлюцинации—главным образом, галлюцинации зрения и осязания, галлюцинации острого алко-

¹⁾ *Корсаков*. Курс психиатрии.

гольного галлюциноза—слуховые галлюцинации. Достопримечательны эти галлюцинации тем, что голоса не обращаются к больному, а ведут драматический диалог, касающийся пациента. Голоса появляются в большом количестве и редко, если вообще говорят в пользу больного. Обыкновенно они ему угрожают, ругают его всячески, составляют против него комплот и хотят его совершенно замучить, погубить. Иногда голоса ведут между собою спор—одни берут на себя защиту больного, другие же его обвиняют. Так получается наконец в ушах больного не разборчивый диалог, а неясный шум голосов. Иногда голоса говорят в ритм с каким-нибудь внешним шумом, напр., в ритм с тиканием часов или с ударами пульса. Иной раз голоса насмеваются над пациентом... Одним словом, при алкогольном галлюцинозе наблюдается большое разнообразие слуховых галлюцинаций, из которых самыми характерными являются голоса, говорящие в драматическом диалоге („dramatisch ausgearbeiteter Dialog“)

Нередко или почти постоянно в начале заболевания больной не перестает слушать различные несуществующие шумы: завывание бури, звяканье оружия, щелканье курка, трескотню, звонкий гул лошадиных копыт и т. д., которые больной связывает с своей судьбой.

Из других органов чувств поражен галлюцинациями орган зрения. Больной видит вдруг одного из тех, голоса которых он слышит. Иногда галлюцинации зрения имеют сходство с таковыми при белой горячке. Галлюцинации других органов чувств (обоняние, вкус, телесные галлюцинации), если они встречаются при алкогольном галлюцинозе, свидетельствуют о шизофренической подкладке заболевания.

Так как совесть алкоголика нечиста, то и понятно, что он одно и слышит, что упреки и обвинения, которые до того преувеличены, что носят явный характер бредовых идей преследования. Бредовые идеи больного не систематизированы, большею частью случайны в зависимости от той или другой галлюцинации, скоропроходящи, особенно, если это бредовые идеи оценки.

Ориентируются больные хорошо. В пределах своего бреда они рассудительны. Они правильно воспринимают и стараются согласовать свои галлюцинации с восприятиями.

Внимание при алкогольном галлюцинозе нормальное и можно вести с больным длинный разговор, во время которого больные держат себя безупречно. Случается же все-таки, что больной увлекается галлюцинациями и отвлекается от разговора. Мыш-

ление больного, поскольку оно не затронуто галлюцинациями, нормально.

Господствующий аффект при заболевании алкогольным галлюцинозом—боязнь. Аффект этот может до того овладеть больным, что он обращается к полиции с просьбой защитить его от мнимых преследующих врагов. Нередки также случаи самоубийства при галлюцинозе алкоголиков, в связи с невыносимым аффектом страха. В большинстве же случаев т. н. юмор пьяниц помогает больному преодолеть аффект страха.

Больные алкогольным галлюцинозом очень раздражительны, настоящие же взрывы буйного гнева и негодования почти что не встречаются у них.

Внушаемость у наших больных далеко не такого рода, как при белой горячке, больные не только не поддаются суггестии, но стараются внушить другим верность своих галлюцинаций и неоспоримую их реальность.

Память при остром галлюцинозе пьяниц мало страдает и ее можно даже назвать хорошей. Все подробности болезни сохраняются в памяти больного, которые он по желанию передает достоверно без конфабуляций.

Больные ведут себя в общем порядочно. Если замечаются какие-нибудь странности в поведении больного, то это только в том случае, если он видит себя принужденным защищаться против галлюцинаций, сделавшихся особенно живыми и надоедливыми. Иногда больные, пока они не интернированы в психиатрической больнице, раз'езжают, чтобы избавиться таким образом от своих врагов. В больнице они подчиняются режиму и господствующей в больнице дисциплине, слушаются врача, которого они узнают как такого. Вообще больные до того хорошо понимают свое положение и до того умеют приспособливаться к окружающей среде, с которой они хорошо сживаются, что Vonhoeffert нашел возможным говорить о разумной спутанности (*besonnenes Delirium*).

Из соматических симптомов нельзя отметить при алкогольном галлюцинозе даже те, которые свойственны хроническому алкоголизму. Ни один из алкогольных заболеваний не беден так соматическими симптомами, как алкогольный галлюциноз. В очень острых случаях можно, однако, констатировать типичные симптомы алкоголизма.

Различают две формы острого алкогольного галлюциноза: острую и подострую. Первая форма алкогольного галлюциноза начинается без продромов с редко встречающейся внезапностью. Она продуцирует много галлюцинаций, главным образом, слу-

ховых. Боязливость, раздражительность, болезненная подозрительность—таковы основные черты характера этого психоза, продолжающегося несколько дней, в редких случаях несколько недель и переходящего постепенно в полное излечение.

Вторая форма—подострая—значительно медленнее, два—три месяца приблизительно. Она отличается абсолютным отсутствием хотя бы только намека на спутанность и отсутствие алкогольных симптомов, особенности, которые при острой форме алкогольного галлюциноза все-таки встречаются, хотя и в кажущейся, мнимой форме. При острой форме алкогольного галлюциноза встречаются иногда случаи, которые трудно даже отличить *объективно* от *delirium tremens* в виду кажущейся спутанности больного и наличия алкогольно-органических симптомов, каковые крупно-ударистый (*grobschlaegig*) тремор и гастрические симптомы. Тем не менее трудно смешать алкогольный галлюциноз с *delirium tremens*. При алкогольном галлюцинозе больные в состоянии сдерживать себя, ведут себя даже образцово и могут себя компрометировать лишь тем, что они обнаруживают странное беспокойство и заговаривают о преследованиях, которым они подвергаются. В тех случаях, где галлюцинации особенно сильно овладевают всем существом больного, он может казаться страдающим спутанностью, которая в самом деле не существует.

Частота острого алкогольного галлюциноза по отношению к *delirium tremens* по Краепелин'у представляет отношение 1:3, по Schroeder'у (Breslau) 1:20, а по Bleuler'у (Zürich) 1:44.

Как мы уже имели случай неоднократно убедиться, трудно смешать алкогольный галлюциноз с другими заболеваниями, в частности, с *delirium tremens*. С одной стороны анамнез подсказывает правильный диагноз, с другой стороны типичность симптомов не допускает ошибок. Я не знаю ни одного психоза, говорит Bleuler, с драматически выработанными связными слуховыми галлюцинациями, которые говорят о больном в третьем лице. Особенная живость галлюцинаций при хорошо сохраненной рассудительности и способности ориентироваться с абсолютной верностью указывают на алкогольное происхождение психоза. Bleuler встречал в дифференциально-диагностическом отношении трудности лишь тогда, когда он хотел отграничить алкогольный галлюциноз от шизофрении, на почве которой, по его мнению, алкогольный галлюциноз особенно пышно иногда расцветает. Однако, такие случаи сравнительно редки и сам Bleuler остается при том мнении, что дифференциально-диагностические трудности при остром алкогольном галлюцинозе сравнительно ничтожны.

Дифференциальный диагноз острого алкогольного галлюциноза и *delirium tremens* особенно удачно охарактеризовал Кгаерелин. С одной стороны (*delirium tremens*) мы встречаем возможность ориентироваться, расстройство восприятия (*Auffassung*), запоминания (*Merkmaleigkeit*), спутанное затемнение сознания, преобладание галлюцинаций зрения, повышенная внушаемость, большое беспокойство, крупно-ударистый тремор, быстрое течение и критический исход; с другой стороны (острый алкогольный галлюциноз)—рассудительность, яркость мысли, характерные галлюцинации слуха, связанный бред, медленное сравнительно течение болезни и постепенное излечение болезненных явлений.

Как в случае *delirium tremens*, так обстоит дело и при других возможных дифференциально-диагностических ошибках в случаях острого алкогольного галлюциноза. Острый алкогольный галлюциноз до того своеобразен, что даже не посвященному в тонкости психиатрической диагностики при некоторой основательности в изучении больного трудно ошибиться. Основательность здесь как и везде—залог успеха!

8. Галлюцинозы при инфекциях и галлюциноз сифилитиков.

Постинфекционные галлюцинозы выделены Вонhöффер'ом из целого ряда постинфекционных психозов: спутанность, эпилептиформные возбуждения, сумеречные состояния, картины *amentia* галлюцинаторные и кататоноформные или инкогерентные, психоз Корсакова и острая спутанность (*delirium acutum*). Главная черта галлюциноза—отсутствие расстройств в мышлении и ориентации—служит отличительной его чертой в ряде других психозов этого рода этиологии.

К инфекционным галлюцинозам можно отнести и т. н. галлюциноз сифилитиков, который проявляет себя десять лет после заражения сифилисом и который тем не менее следует связывать со старой инфекцией.

Общее течение и другие основные черты сифилитического галлюциноза еле дают возможность отличить его от других галлюцинозов. Основной симптом—галлюцинации, суть, главным образом, галлюцинации слуха, встречаются однако даже и телесные галлюцинации, конечно, не в большом количестве. Наличие бредовых идей, иногда весьма бессмысленных, придает этому галлюцинозу черту параноида, которая, однако, не затемняет общей картины галлюциноза, если даже бредовые идеи задают тон общему настроению больного—бредовые идеи

величия, легкий под'ем духа до экзальтации, идеи виновности, сильные депрессии.

Главным доказательством сифилитического характера галлюциноза служат органические симптомы: параличи, расстройства со стороны зрачков, мочевого пузыря, Вассермановская реакция и т. д.

9. Алкогогаллюциноз.

Алкоголический галлюциноз, сокращенно алкогогаллюциноз, сделается нам понятным лишь после того, как мы доведем до конца начатые нами в главе: „Что такое галлюцинация?“ рассуждения о галлюцинациях, которые мы здесь развернем в *сексуальную теорию галлюцинаций*.

Мы для этой цели сделаем небольшую экскурсию в область сексуальных проблем, специально в область сексуальных извращений.

Сексуальное извращение в общем трудно излечимая и даже совсем неизлечимая болезнь в виду того, что оно представляет собой сильную страсть, не поддающуюся минутному удовлетворению. Время от времени эта страсть пробуждается, с неистовой силой требует удовлетворения, которое часто должно повторяться...

Даже такая сравнительно не глубоко коренящаяся страсть, как мастурбация, трудно поддается лечению, и она является источником целого ряда психических расстройств, вплоть до неврастении и неврастенического психоза. Есть половые страсти, которые гораздо опаснее для самого ими пораженного как и для общества, чем мастурбация, и которые порождают болезни серьезнее чем те, которые следуют без меры практикуемой мастурбации. Таковы: гомосексуализм, эксхибиционизм, содомия, алголания (мазохизм и садизм) и т. д.

Нас здесь будет исключительно интересовать алголания, т. к. это та страсть, которая при определенных условиях ведет к тяжелому душевному заболеванию, называемому алкогогаллюцинозом.

Первый и главный вопрос, т. к. его решение помогает пониманию и образумлению всего феномена алголания, это среди вопросов, касающихся алголания, вопрос о происхождении этой страсти.

Как известно, алголания состоит в удовлетворении половой страсти, причиняя боль, главным образом, физическую, близким и любимым персонам или самому себе, так что *Бехтерева*

удачно говорит о половых мучениках и половых истязателях¹⁾. Спрашивается: как объяснить такую странную страсть? Как может половое сладострастие находить свое удовлетворение в том зверином инстинкте, который не останавливается перед убийством, сопровождающимся сладострастным наслаждением муками жертвы?...

Вопрос действительно трудно разрешимый.

Бэрроуз, автор серии романов о человеке-обезьяне, думает, что одному лишь человеку свойственно убивать без всякой нужды, из одного только удовольствия и желания наслаждаться муками жертвы. Это мнение далеко неверно. Стоит только наблюдать, как кошка давит мышей, делая из этого своего ремесла долго продолжающуюся игру, во время которой кошка обнаруживает все признаки огромного удовольствия мучить свою жертву, чтобы убедиться, что и кошка убивает из одного удовольствия убить, тем более, что она не пожирает даже по временам своей жертвы и удовлетворяется одним убийством.

Вероятно, не одна только кошка в мире животных убивает из удовольствия убить,—но и много других животных. Стоит только долго и внимательно наблюдать животных, чтобы убедиться, что удовольствие убивать—весьма распространенное удовольствие в животном царстве.

Трудно, однако, доказать, что страсть убивать носит у животных сексуальный характер. Однако, в случаях, где самец в борьбе за обладание самкой убивает своего соперника, убийство носит уже сексуальный характер, что касается конечной его цели, и служит как бы вступлением в самый половой акт.

Мы видим, таким образом, что в животном царстве убийство как источник интенсивного удовольствия, которое приходится уподобить половой страсти, сильно распространено. Трудно себе представить, какого рода удовлетворение испытывает животное, когда оно убивает не для удовлетворения голода, если не род полового сладострастия. Кошка, убивающая без нужды, и превращающая убийство в сладострастную игру в роде той с котятами, вероятно, испытывает сладострастные чувства, сходные с таковыми при половых переживаниях.

Алгология, особенно садизм, сильно распространена среди животных, и наблюдатель, отдавший подробно исследованию этого феномена, соберет богатую жатву.

¹⁾ B e c h t e r e w. Die Perversitäten und Inversitäten vom Standpunkte der Reflexologie. Arch. u. Psychiatrie u Nervenkrankheiten Bd. 68. S. 1. 0. 1923.

Принимая во внимание, что алголания у животных—обычное явление, мы не удивимся больше *встретиться* с этим феноменом у людей.

Люди очень часто убивали и в некоторых некультурных странах и по сию пору убивают себеподобных в честь богов, устраивая при этом торжества и шумные пиршества, сопровождающиеся половыми оргиями. Этот древний обычай первобытного человека, освященный религией, не мог не оставить следов в последующих поколениях, и если люди перестали убивать в своем образе сотворенных, принося их в жертву богам, и есть человеческое мясо, то атавистический инстинкт убивать без нужды, чтобы доставить себе удовольствие, остается в силе и проявляется по временам с неимоверной силой.

Я указал на один характерный случай садистического инстинкта людей, стоящего, безусловно, в тесной связи с таким у животных—на убийство при религиозных обрядах, чтобы дать понять, насколько садистический инстинкт связан с духовной жизнью человека, со всем им любимым и уважаемым, со всем священным. Люди приносили в жертву богам (т.е. по просту убивали) своих любимых детей, страдая, может быть, при этом, но с другой стороны получая большое садистическое удовлетворение—уверенность, что бог помилует их за принесенную жертву и будет им всячески благоприятствовать.

В последнем случае жертвоприношения собственных детей богам, мы имеем не только ярко выраженный садизм (выпрашивание божьей милости причиняя страдания другим), но известную долю мазохизма—вечная разлука с любимыми детьми. Этот случай доказывает, что редко садизм существует без примеси мазохизма. Обыкновенно мазохизм и садизм связаны в одно явление с преобладанием того или другого момента, так что выражение «алголания», введенное Schrenk-Notzing'ом в литературу по этому вопросу и заключающее в себе оба понятия—мазохизм и садизм—соответствует необходимой потребности обнять оба понятия в одном слове.

Понятно, что алголанический инстинкт, зиждящийся в самой глубокой древности человечества и связанный со всем дорогим, святым (религия!) и возвышенным в жизни человека, не мог совершенно исчезнуть. Самый этот инстинкт кажется нам, как прирожденный инстинкт, далеко распространенный во всем животном царстве (припомним еще здесь пример самки паука, пожирающей после совокупления самца), до того сросшимся с хищнической натурой животных и людей, что он вероятно, никогда не исчезнет совершенно.

Конечно, люди перестали в садистической своей страсти приносить себе подобных в жертву богам, но они не перестали удовлетворять свой садизм другими путями, пожалуй, менее бессмысленными и зверскими, но все же довольно жестокими, чтобы можно было сравнить их с первобытным садизмом людей. 1

Алгология исчезла, может быть, совершенно из общественной жизни современного человечества, но в частной жизни человека, в половых его переживаниях она до сих пор играет огромную роль и занимает одно из самых видных мест среди половых извращений

Примеров алгологии в литературе по половым извращениям огромное количество. Все они очень любопытны и с психопатологической точки зрения неопценимы.

Не всегда, однако, алгологическая страсть сознательна. Как унаследованный инстинкт, она может оставаться ее носителем совершенно бессознательной, и не всегда, будучи сознательной, она поддается удовлетворению. В тех случаях, где алгологическая страсть остается для одержанного ею совершенно бессознательной, она гораздо импульсивнее, повелительнее, чем в случаях, где страдающий алгологией отлично сознает свою страсть и всячески старается побороть ее. У кого алгологическая страсть является слепым инстинктом, тот совершенно беззащитен против своей страсти, которая не испытывает никаких препятствий со стороны воли.

Не следует еще забыть, что алгологическая страсть очень опасная страсть, тем опаснее, что она неудовлетворима и постоянно требует новых жертв. Алгологическая страсть обыкновенно приходит в столкновение с существующим порядком вещей и строго карается законом, если алгологический акт не останавливается перед действиями, карающимися законами, каковы кража, убийство, избиение, различного рода повреждения, поджоги и т. д. Понятно, что сознательные алгологики из чувств самосохранения прибегают к разным средствам, которые заменяли бы садистический акт, не ослабляя остроты сладострастного чувства, сопровождающего алгологию.

Из всех возможностей подставить настоящему алгологическому акту поступок певинного характера, который мог бы успешно его заменить—галлюцинация является самым изысканным средством. Принимая во внимание, что галлюцинация достигает той степени реальности, что она представляется ярче и реальнее настоящей действительности, мы не станем удивляться что галлюцинация способна служить заменой настоящих садистических актов. Что стоит галлюцинаторно убить человека,

видеть перед собой окровавленный труп и наслаждаться в полном спокойствии чародейственной картиной? Разве можно так легко и безнаказанно достичь того же результата, совершив настоящее убийство? А ведь галлюцинации по временам гораздо живей действительности! И вот, в известных условиях, страстное желание удовлетворить алголанию вызывает, при невозможности реально осуществить это желание, галлюцинации, которые и служат удовлетворением страсти.

Таким образом, алголанический галлюциноз вырастает из алголанической страсти при том условии, если эта страсть, будучи, главным образом, бессознательной и в связи с этим особенно сильной и импульсивной при неимении другой возможности осуществиться, прибегает к галлюцинациям, как к единственному средству *реально* осуществить алголаническую страсть.

С точки зрения алгогаллюциноза галлюцинация, которая, как мы уже раз убедились, есть выражение желания и его исполнение, это *галлюцинация-желание*, алголанического характера.

Как же отражается алголаническая страсть в галлюцинации?—Иногда просто, галлюцинаторным переживанием того акта, который служил бы реальным удовлетворением страсти. Иногда же, главным образом, в случаях совершенно бессознательной алголании, алголаническая страсть выражается в галлюцинациях *символическим* путем.

Сексуальная теория галлюцинаций ставит на ряду с первым принципом — галлюцинация—исполнение, собственно осуществление алголанического желания следующие принципы, характеризующие, как галлюцинации алгогаллюциноза так и самую болезнь.

Способ выражения алголанического желания в галлюцинациях есть, как уже упомянуто, способ символический: алголанические символы служат живым осуществлением замаскированной бессознательной алголанической страсти.

Механизм осуществления галлюцинаций состоит в борьбе бессознательной страсти с действительностью, в которой галлюцинации, побеждая действительность, подставляют ей плоды фантазии, которая, в качестве галлюцинаторной фантазии, сама носит характер действительности, удовлетворяя ту страсть, которая для больного актуальнее повседневной серой действительности.

Галлюцинаторная действительность до некоторой степени сходна с явлениями сновидений, т. к. при галлюцинаторных

переживаниях не соблюдаются ни законы времени, ни таковые пространства, ни особенности места, и галлюцинаторные события и происшествия вследствие этого до того перепутываются, что они представляются в форме бреда, на подобие бреда сновидений.

Таковы те особенности, которые характеризуют галлюцинации алголанического галлюциноза. Следует еще отметить, что галлюцинации алгогаллюциноза отличаются особенною живостью, не наблюдаемой ни при каких других видах галлюцинозов.

Все эти теоретические данные о галлюцинациях алгогаллюциноза можно проверить в клинике на типичных случаях заболевания этой болезнью. Здесь же я могу лишь в общих чертах охарактеризовать галлюцинации и общее течение алгогаллюциноза.

Галлюцинации алголанического галлюциноза, поскольку они галлюцинации слуха, об одном только и толкуют, что о смерти, покушении на смерть, осуждении на смертную казнь, самоубийстве и т. д., выражая таким образом алголаническое желание своей или чужой смерти, своих или чужих мук. Знакомые больному голоса, а иногда и незнакомые, осуждают преступную жизнь больного и говорят ему, что если он в ближайшее время не покончит самоубийством — его убьют, повесят, застрелят и т. д. Галлюцинации до того живы и повелительны, что больные очень часто покушаются на самоубийство или об'являют в унисон с подсказывающими голосами голодовку, чтобы, таким образом, избежать неминуемого наказания.

Мы можем судить по этим немногим фактам, что галлюцинации алголанического галлюциноза, в сравнении с таковыми при других галлюцинозах, гораздо интенсивнее и импульсивнее и несравненно живей, что об'ясняется характером страсти, которая руководит галлюцинациями. Больные так и рвутся в смерть и подлежат особенному наблюдению, в виду постоянных их попыток, следуя приказаниям голосов, покончить самоубийством.

Галлюцинации зрения, которые занимают второе место после галлюцинации слуха, не утешительнее галлюцинаций слуха. Больные видят скелеты, которые мучат их своим прикосновением и не дают им покоя; они видят окровавленные трупы, то в саванах, то голых, и больные превращают помещение, в котором они находятся, чуть ли не в анатомический

музей. Они видят смерть с косою на плечах, видят своих па-
лачей, много различных хищных животных, являющихся сек-
суальными символами и т. д., и т. д.

Внутриутробные галлюцинации встречаются у алкогаллюци-
нантов в большом количестве. Черви, как символ смерти, во-
дятся у больного в животе, он чувствует, как змея облизывает
его сердце глубоко над предсердечником, и испытывает при
этом приятную сладость, ему кажется, что змеи должны выйти
у него через задний проход, он чувствует, как змея спускает-
ся вдоль ноги и вкусывается, дойдя до стопы, в пол, то змея
хочет пробуровать брюшную стенку и выйти наружу. Все эти
галлюцинации сопровождаются сильным аффектом страха.

Вкусовые галлюцинации тоже встречаются. Больной чув-
ствует в пище различные яды или неприятные вкусы резины,
чужих выдыханий, испражнений и т. д. Все эти галлюцинации
то и делают, что мучат больного, который никак не может
по своей воле освободиться от них. Они так же сами проходят, как
и явились не прошенным гостем.

Большинство галлюцинаций представляют собой символы
смерти и гибели для самого больного, который в алкогалици-
ческом галлюцинозе оказывается больше мазохистом, чем са-
дистом. Таким символом является, напр., разрезывание на куски
рубашки, простыни, одеяла, павлочек и других постельных
принадлежностей, которое делается по приказанию голосов.
Смысл этого акта очень простой. Больные делают это, чтобы
вить веревки и повеситься по приказанию тех же голосов.
Иногда же это чисто символический акт, т. к. простыня, руба-
ха, одеяло символизируют любимое лицо, субъект половой
страсти, который они мучат и терзают. Эта символика есть
общезвестная символика фетишизма, который у Гете нашел
поэтическое свое выражение в двустипши.

Schaff mir ein Tuch von ihrem Hals
Ein Strumpfwand meiner Liebeslust

Очень часты галлюцинации змей, которые ползут вдоль
стен, не причиняя вреда больному. Иногда они совокупляются
на глазах больного.

Я хочу ограничиться приведенными данными по вопросу галлюцинаций при алгогаллическом галлюцинозе, повторяя, что ни при каком галлюцинозе галлюцинации не отличаются такой живостью, интенсивностью, повелительностью и импульсивностью, как при алгогаллюцинозе. Все эти особенности алгогаллических галлюцинаций обусловлены той страстью, выражением которой служат галлюцинации.

Несмотря на то, что галлюцинации заставляют алгогаллюцинанта жить в совершенно чуждой окружающей его атмосфере, и больной благодаря чрезвычайной живости галлюцинаций чувствует себя то в анатомическом музее, то в джунглях, то на свадебном пиршестве, то на эшафоте, он хорошо ориентирован и если удастся отвлечь его внимание от галлюцинаций, то он оказывается рассудительным, хорошо ориентированным алло, сомато и автопсихически—и способным критически относиться ко всем вопросам, лично его касающимся, или общего характера, только не к своим галлюцинациям, которые для него представляют абсолютную реальность, хотя он временами и сознает, что они не более, как бред больного духа. Но что же способно удовлетворить неудовлетворимую и преступную страсть алгогаллюцинанта, если не галлюцинации? Как безопасным образом, не приходя в столкновение с существующим порядком вещей, удовлетворять страсть к непереносимым мучкам—духовным и физическим, если не путем галлюцинаций, которые оставляют тело совершенно невредимым?

Бредовые идеи играют при алгогаллюцинозе второстепенную роль и могут даже совсем не встречаться при этом заболевании. Если же таковые имеются, то они не типичны и находятся в прямой зависимости от галлюцинаций. Вообще, вся картина болезни до того одолевается галлюцинациями, что другим симптомам, встречающимся по временам при этой болезни—диссоциация, стереотипы, сильное беспокойство, страх и т. д.—приходится уделять мало внимания, т. к. все эти симптомы скоропреходящи и появляются лишь в самой острой стадии галлюцинаторного припадка.

Алгогаллюциноз—болезнь, вырастающая на конституциональной почве. Это болезнь раннего и среднего возраста. Самый молодой, мне известный случай, это—случай, где болезнь началась у девицы в 17 г. жизни. Известны мне случаи, где болезнь удержалась типичной в 40-х годах. Течение болезни хроническое и выражается оно в галлюцинаторных припадках, наступающих время от времени и продолжающихся от нескольких

недель до нескольких месяцев. Чередуются галлюцинаторные припадки с нормальными периодами психической жизни не в определенных промежутках времени, а в зависимости от частного случая галлюцинаторные припадки повторяются через несколько месяцев и в более редких случаях даже через несколько лет. Полного излечения предсказать нельзя.

Нормальные промежутки между галлюцинаторными припадками отличаются абсолютным отсутствием галлюцинаций. Однако, больные, измученные галлюцинаторным припадком, во время которого они изживают всю свою аффективность, и вследствие сильных возбуждений, ослабевшие также физически, кажутся переутомленными, меланхолически-апатичными, и склонны к уединению. Мало-по-малу они совершенно поправляются, приобретают новые психические и физические силы, чтобы впоследствии расточить их совершенно в свежем галлюцинаторном припадке...

II. Галлюцинирующая женщина в изображении Максима Горького.

Я осмелюсь назвать *Горького* психиатром-художником, хотя я отлично знаю, что *Горький*, по скромности своей, первый будет протестовать против навязываемой ему мною новой чести. Но я не могу утаить от читателя то, что мне при изучении произведений *Горького* сделалось неоспариваемой истиной, а именно: *Горький* дал нам самые лучшие художественные изображения различных болезненных душевных заболеваний, а также лучшие художественные картины различных душевных заболеваний, которые только существуют в русской и, пожалуй, всемирной художественной литературе. *Горький* достиг такого мастерства и совершенства в художественном изображении душевных болезней (напр., в рассказе «Голубая жизнь»), что титул «психиатр-художник» вполне заслужен им, и достиг, очевидно, *Горький* этого своего мастерства благодаря тому, что он с самых молодых лет высказывал особенный интерес к психиатрии, посещал в Казани лекции *Бехтерева*, читал книги психиатрического содержания и сам, переживая различного рода тяжелые душевные состояния, обогатил свой опыт многими самонаблюдениями в этой области. Ничего удивительного, если, после всего этого, *Горький*, при огромном своем художественном таланте, дал нам удивительно правдивые и в то же время высоко-художественные изображения различных душевных заболеваний, так что даже опытный психиатр может поучиться у *Горького* лучшему пониманию загадочных явлений

душевно больной жизни, испытывая при этом большое эстетическое удовлетворение.

В этой моей статье я хочу на новом, весьма поучительном примере доказать, как глубоко вник Горький в тайны больной человеческой души, как он правильно понял и оценил один из наиболее загадочных в психиатрии феноменов галлюцинации.

Явление галлюцинации волнует лучшие умы психиатров со времеч знаменитого французского психиатра Esquirol'a (начало XIX столетия), который является одним из основателей новой, научной психиатрии. Некоторые достижения психиатрии в этой области можно, конечно, за столетний период существования проблемы и интенсивной обработки ее психиатрами отметить. Вопрос о сущности галлюцинации все же остается спорным и по сей день, а потому я считаю описание галлюцинирующей женщины, данное Горьким в „Рассказ об одном романе“ исключительно ценным, ибо оно до известной степени дает возможность проникнуть вглубь проблемы галлюцинаций и дать вполне определенное освещение некоторым ее сторонам, при чем выяснится и самая сущность галлюцинации, как мы ее понимаем.

Вот та женщина, которая галлюцинировала чуть ли не целый роман, пожалуй, свой роман:

„Женщине — лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая, у нее овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз — старит его, осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на все вокруг недоверчиво и ожидающе.

Есть такие женщины, они всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьезно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их в такой час как бы говорят:

— Все это вполне естественно, а — дальше?

Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждет, когда же, наконец, вспыхнет еще какая-то, может быть, „бесцельная“, но иная любовь? Такие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:

„Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобой“.

„Прости меня“ они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда веселую и „бурную“, иногда — тяжелую, непривычно нищенскую, но в обоих случаях ждут еще чего то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать влуж

не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей рождают неохотно. После всех значительных моментов их жизни, страшные глаза таких женщин, смотрят так, как будто бы безмолвно спрашивают:

— И только?

Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают:

— Не может быть!

И снова такая женщина чего-то ждет, ждет до той поры, пока уже ничего не пужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путем.

Что такие женщины могут или должны галлюцинировать из их характеристики никак не следует. Интересно, или, вернее, необходимо изучить точнейшим образом те обстоятельства, при которых женщина вышеописанного типа способна галлюцинировать, для того, чтобы понять почему и как она галлюцинирует, и для того, чтобы можно было бы сделать кой-какие выводы общего характера, выводы, дающие возможность признать предполагаемую теорию галлюцинаций истиной.

Начнем, таким образом, с точного описания тех обстоятельств, при которых женщина Горького, сначала незаметнейшим для себя образом, предалась галлюцинациям.

Был тихий, ясный осенний вечер, полный гармонии и поэзии. Женщина, *утомленная* длившимся несколько дней приемом многочисленных гостей, сидела *одна* на террасе дачи и, прикрыв глаза, занялась, как выражается *Горький*, „уборкой души“, — „гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и еще многом другом. Все это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немного требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нем“.

Отметим здесь же некоторые весьма важные обстоятельства, при которых случился *галлюциноз* женщины, галлюциноз — ибо, как уже сказано, дело идет не об одной или нескольких случайных галлюцинациях, а о „массовых галлюцинациях“, связавшихся чуть ли не в роман. Женщина находилась в состоянии душевного переутомления и, закрыв глаза, предалась впечатлениям прошедших дней. Вокруг нее господствовала полная тишина и поэзия погасающего в своем величии осеннего дня.

На этой же самой террасе женщина сживала с писателем Фоминым, чувства к которому у нее еще не совсем определились, но который, однако, больше всех других окружавших ее мужчин занимал ее мысли. И в этот знаменательный осенний вечер мысли женщины остановились сейчас на Фомине, который однажды вечером здесь, на террасе, читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой и, наделав не мало дурного и хорошего, так и не понял ничего, а потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе.

Сидя на этой террасе, женщине вообще трудно было не вспоминать и не думать о Фомине, ибо он оставил здесь еще неизгладимый след:

„Поперек одной из половиц террасы глубокий след удара острым,—это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжелый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлен, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топориче переломилось“.

В этой, насыщенной воспоминаниями о Фомине и его романе атмосфере террасы женщина, предаваясь своим мечтам, неминуемо должна была остановиться на Фомине, который, видимо, вообще чаще других занимал ее мысли. Это все понятно. Понятно и то, что женщина старалась подавить свои симпатии к писателю Фомину. Разбираясь в своих впечатлениях о нем и рисуя себе в различных красках духовный его облик, женщина приходит в своих рассуждениях к заключению: „Но, вообще, женщина, если она не хочет искалечить себя, не должна любить писателя, не должна“. Эта заключительная мысль женщины об ее отношениях к Фомину дает нам повод думать, что она любила Фомина, больше чем она сама об этом знала, или хотела знать. Понятно и это! Непонятное начинается вот где:

«Прищурясь, она смотрела в парк, там, между ветвей и стволов берез, багровели разнообразные фигуры, четко вырезанные на фоне вечерней зари, а на скамье сидел человек в белом костюме, в шляпе-панаме, с тростью в руке:

— Это—кто же?—спросила она себя.—Ведь все уехали. И—в белом костюме, не по сезону. Все наши уехали,—еще раз напомнила она себе.

Но было неприятно ясно, что один остался. А, может быть, это незнакомый зашел в парк и сидит, любуясь отблесками зари на воде пруда? Но почему он в летнем костюме? Вот он чертит по земле тростью и женщине показалось, что слышно,

как шуршат, сухие листья. Через несколько минут решила послать горничную, посмотреть: кто этот человек?

Встала,—заскрипело кресло; звук очень ясный в тишине, но человек не услышал его. Тогда женщина сама спустилась со ступенек террасы на холодную землю, пошла по дорожке и заметила, что она неестественно быстро подошла к человеку, а его фигура не стала вблизи ни крупнее, ни отчетливее, оставаясь такою же, какой она издали увидела ее.

Это был, разумеется, один из бесчисленных фокусов черного освещения, но более странным было то, что человек этот, красновато освещенный огнем зари, не давал тени. И листья, которые он сгребал своей тростью, не шуршали, более того—они не двигались, когда конец трости не касался их. Затем женщина почувствовала, как, будто, нечто неосоздаемое, обняв ее, кружит в медленном вальсе.

Человек поднялся навстречу ей, вежливо, но как-то неумело снял шляпу, поклонился и спросил негромким, сухо-шелестящим голосом:

— Простите,—это вы и есть?

Человек—молодой, элегантно одет, но довольно бесцветный, с длинным сухим лицом, голубоглазый, с маленькой русой бородкой. Что-то неестественное, полупрозрачное, стеклянное было в его неподвижном лице. Он не напомнил женщине никого из ее знакомых, но казалось ей, что она видит его не впервые.

— Странный вопрос,—сказала она, усмехаясь.—Конечно, это — я.

— Да?

Человек тоже механически усмехнулся, от этого лицо его сделалось жалким.

— Значит, вы и есть та женщина, которую я должен встретить?

Он тотчас же добавил, беззвучно ударив тростью по своей ноге.

— Впрочем, я не уверен, должен ли встретить здесь женщину...

Женщина пристально смотрела в глаза его,—такие глаза бывают только на портретах, необходимо некоторое усилие воображения, чтоб признать их живыми. Видимо, этот человек очень застенчив и, вероятно, тут какая-нибудь конспирация,—это один из таинственных друзей мужа или Веры Ивановны скрывается от жандармов и вообще—это политика. Но как нелепо нарядили его!

— Вы от Веры Ивановны?—спросила женщина. Он ответил тоже вопросом:

— Она тоже участвует в романе?

— В романе? Что вы хотите сказать?

Человек мотнул головой.

— Я не помню там женщины с таким именем...

— Где—там?

— В романе.

— Сумасшедший?—мелькнула у нее догадка и, плотнее кутаясь в платок, она сказала суховаго:

— Я не понимаю: почему, о каком романе говорите вы? И, мне кажется, я имею право спросить: кто вы?

Человек взглянул на нее пристально, его нарисованные глаза выразили явное недоумение, но он тотчас же улыбнулся и согласно кивнул головой.

— Разумеется, это ваше право. Я думаю, что с этого — вот с этой встречи— и начнется роман. Должно быть, так и предназначено автором: сначала вы относитесь ко мне недоверчиво, даже неприязненно, а затем... Я не знаю, что будет дальше, вероятно, для меня все это кончится новой драмой...

— Сумасшедший!—решила женщина, внимательно слушая медленную, бесцветную речь и следя за его лицом, — и лицо становилось как будто живее, менее плоским. Сама же она чувствовала себя очень странно, как будто засыпала, и у нее явилось желание слушать его молча, не прерывая.

Я, вероятно, не впаду в ошибку, если подумаю, что читатель, следивший все время за диалогом женщины с «человеком в белом костюме», в душе своей решил, что восклицание женщины «сумасшедший!» могло бы быть правильное применено к ней самой, конечно, в женском роде. Все обстоятельства говорят за то, что женщина находилась в каком-то *сумеречном состоянии* (*Горький* пишет, что женщина чувствовала себя «очень странно, как будто засыпала»), галлюцинировала «человека в белом костюме», а также разговор его с ней. У нее появились даже в связи с галлюцинацией бредовые идеи, и она подозревала, что за «человеком в белом костюме» таится «конспирация», «политика».

Но для большей убедительности и ясности и для понимания и психиатрической оценки душевного состояния женщины, таким образом галлюцинировавшей, необходимо следить, хотя бы отрывками, за дальнейшим развитием сумеречного ее состояния.

— Итак, кто же—вы?—спросила она еще раз и заметила, что этот вопрос, так же как вопрос о Фомине, снова вызвал его недоумение. Сильно хлестнув тонкой тростью по воздуху—при чем она не услышала свистящего звука—человек натянуто и некрасиво усмехнулся:

Странно, что вы спрашиваете об этом—забыли? Позвольте напомнить. Я—Павел Волков. Павел Нилович Волков, сын инженера и тоже гражданский инженер, человек бездеятельный, неудачник, мне тридцать два года, я богат. Шесть лет тому назад женился по любви, через четыре года жена ушла от меня, оставив записку карандашом: «Прости меня, Павел! но я не могу больше жить с тобою». Теперь она живет где-то на Кавказе, но, кажется, я не должен встретиться с нею, а впрочем... это мне неизвестно. И это все, что я знаю о себе, остальное еще не дописано, не создано...

Он говорил, точно паспорт читая, и только в конце слов, женщина услышала что-то, близкое возмущению или досаде.

Сама она, тоже чувствуя досаду против него, думала:

— Если это не сумасшедший, воображающий себя героем неудачного романа Фомина, так это—человек бездарный и немудрый.

Входя на террасу, она спросила его:

-- Как вы делаете, что у вас нет тени?

Павел Волков удивился:

—Зачем нужна мне тень? И разве вы во сне видите тени? А, ведь, это—как сон!

— Что как сон?

— Да вот это, наше с вами бытие,—бытие людей искусственно созданных для развлечения людей, реально существующих».

Здесь мы видим, как у женщины медленно пробивается сознание, что она находится в каком-то состоянии полусна, что она бредит каким-то неоконченным романом Фомина, может быть, тем самым, который он ей однажды читал здесь же, на террасе. Однако, состояние оцепенения, в котором находилась женщина, оказывается сильнее пробивающихся проблесков сознания, и она опять впадает в состояние полусабытья, продолжает галлюцинировать; процесс, как известно, требующий большого напряжения душевных сил, так что неудивительно, что женщина начала себя чувствовать не только все более и более утомленной, но даже плохо.

«Женщина осторожно коснулась рукою своих глаз, посмотрела вокруг и сказала тихонько:

-- Все это—очень интересно, но несколько утомляет меня...

— Конечно, должно утомлять,—согласился Павел Волков. Но, знаете, за два года бездействия и неподвижности, ожидая, когда Фомин докончит меня и пустит в дело, в жизнь, для развлечения людей, я как-то уплотнился, что ли, окреп и, кажется, тоже по структуре моей, стал очень близок к реальному существу. Я почти реален. да...

Женщина почувствовала себя плохо, она уже хотела сказать об этом странному, несомненно безумному гостю, но в это время в двери из внутренних комнат явилась горничная и встала, как в раму, открыв рот, выкатив глаза, точно окунь, пойманый крючком удочки.

— Что вам, Глаша?

— Вы звали?

— Я? Нет.

— Извините. Мне послышалось—вы говорите....

— Ну, да, говорю! Разве вы не видите...

Мигая, женщина поднялась на ноги, оглянулась—Павел Волков, стоявший у окна, спивсю к нему—исчез

Мимо тусклых, в сумраке, стекол медленно падал лист, в зеленоватом воздухе недвижно висели ветви клена. Долго, пристально, до боли в глазах женщина смотрела на окно, смотрела так упорно, что ей, наконец, показалось, будто стекла сверху до низа разрезаны тонкой, темной нитью.

— Да, сердито сказала она,—я говорила... я звала вас! Принесите чаю.

А когда горничная ушла, она задумалась:

— Кажется, это называют галлюцинацией зрения и слуха, сложной галлюцинацией. Отчего бы это у меня? Странно. Очень странно».

Как это часто бывает, присутствие постороннего лица вывело женщину из оцепенения, и женщина сразу догадалась, что Павел Волков и весь ее с ним разговор сплошная галлюцинация «сложная галлюцинация слуха и зрения», как выражается *Горький*. Догадалась и думала, что «это навождение—кончилось». Однако, как только скрылась Глаша, опять появился Павел Волков.

— Да, так вот, я говорю,—раздался знакомо шелестящий голос; человек стоял у окна и пальцем одной руки гладил свой висок, а в другой качал шляпу.

— Позвольте!—раздраженно сказала женщина.—Где вы были, когда вошла горничная?

Павел Волков удивленно расширил глаза, шагнул к ней раза два,—она быстро, отталкивающим жестом протянула руку навстречу ему.



— Где я был?—переспросил он, остановясь и угловато подняв плечи.—Я был тут, здесь. А-а, вы перестали видеть меня? Так это потому, что я повернулся к вам боком, а я, ведь, как игральная карта, как портрет,—вы забыли? Но, ведь, вы сами такая же...

— Нет,—возмущенно сказала она,—нет!

Человек вздохнул, говоря:

— Однако, какой у вас трудный характер!

Он сказал это тоже раздр^оленно, как бы вторя ей, но черты лица его оставались неподвижны, действительно напоминая лицо портрета. Иногда на этом матовом лице являлись и исчезали тени, почти не изменяя его,—являлись они так же извне, как его неприятная улыбка. И было в нем страшное сходство с отражением на воде, чуть колеблемой ветром.

— Как делает это он?—догадывалась женщина, сосредоточенно разглядывая его, и вдруг почти приказала:

Встаньте немного левее!

Взглянув на нее, он бесшумно подвинулся, встал против зеркала, но не отразился в нем, стекло, едва заметно потемнев, не показало его серую, в сумраке, фигуру.

— Ясно, это—галлюцинация —решила женщина).

Интересно здесь отметить, что галлюцинации принимают у женщины постепенно характер навязчивых галлюцинаций. Убедившись, что она галлюцинирует, женщина хотела бы отделаться от галлюцинаций, однако, напрасно. Волков продолжает говорить, чувствуя себя «достаточно реализованным для того, чтобы продолжать неоконченный роман Фомина за свой личный страх, так сказать, на свои средства». И женщине ничего другого не остается делать, как продолжать свой разговор с «гостем», жестоко страдая, продолжать разговор.

— Да,—повторил Павел Волков,—я решил продолжать роман самостоятельно. Мне бы вот только найти женщину, вернее убедить вас, что именно я—тот, кто предназначен вам Фоминым.

И вопросительно глядя на нее, он с досадой сказал:

— В этой проклятой действительности устроено как-то так нелепо, что без женщины шага нельзя ступить. Да и скучно без нее...

— Если я правильно поняла вас,—начала женщина и остановилась, сосредоточенно прислушиваясь как в ней растет и греет ее какая-то смутная, но серьезная мысль.

— Да?—настойчиво спросил он, наклонясь к ней, и не исчез, когда горничная внесла поднос с чаем

— Две чашки, Глапа.

— Две?

— Ну, да, боже мой...

Кивнув головой вслед горничной, человек спросил:

— Это—тоже эманация Фомина?

Чтоб не отвечать ему, женщина наклонила голову, а он принял это, как ее утвердительный ответ.

— Не понимаю, зачем нужно воплощать воображение в такие грубые формы!

— Вы будете пить чай?

Павел Волков выпрямился, уныло говоря:

— Вы бы еще водки или коньяку предложили мне. Нет, очевидно, Фомин не дописал вас, вы не знаете, как вам нужно вести себя со мною, и, вот, между нами, вместо романа, разыгрывается смешной водевиль. Положительно—я не знаю, что делать? Для полной моей реализации необходима женщина, и, очевидно, эта женщина—вы. Но вы явно незнакомы с вашей ролью или не поняли ее, или же, повторяю, Фомин выдумал вас еще более небрежно, чем меня. И, наконец, мне кажется, что вы не верите, все еще не верите!—себе самой, а у меня нет средств убедить вас в том, что я—не призрак, не галлюцинация и не вашего,—поймите же это, прошу вас!—я создание не вашего воображения, не вашего, а—Фомина—понимаете?

Так увлекается женщина своими мыслями и мнимым разговором с галлюциаторным Волковым, до того увлекается, что она забывает опять про свою галлюцинацию и трагует Волкова, как «обыкновенного человека».

--Это—обыкновенный человек. И довольно скромный. А я—вовсе не схожу с ума. Просто—я вижу что-то, чего не знаю, И, конечно, тут не без фокусов.

--Создан же я, очевидно для того, чтоб утвердить какую-то, придуманную Фоминым истину,—слышала она голос Волкова.—Ведь, должно быть, все эманации сочинителей ввергаются в жизнь для утверждения различных истин?—спросил он.

Женщина не решилась ответить утвердительно: все-таки перед нею был чужой подозрительный человек, зачем вскрывать перед ним маленькие тайны мира сего? А вдруг, действительно, существует другой мир, и в нем живут люди двух измерений, вроде японских мышей.

Затем она совершенно разумно сообразила, что если перед нею просто человек, то, разумеется, он должен обнаружить это, когда она начнет кокетничать с ним. Освободив из под плеча достаточно обаятельную ножку, покачивая ею, она сказала.

—Мне помнится, что Фомин задумал вас именно таким, каким вы характеризовали себя. . .

—Я рад,—сказал Волков,—конечно, это очень тяжелая роль, но я рад! Ведь, уж если создан, так надо жить!

—Да,—согласилась женщина, подумав немножко.—Дальше вы, действительно, должны встретить женщину из тех, которые, знаете, чего-то ждут, что-то решают и, неожиданно для себя, делают как раз не то, что решили. До конца дней, по крайней мере—до старости жизнь кажется им неисчерпаемой, но они не имеют в себе той жадной и дерзкой силы, которая слепо черпает наслаждения жизни. А главное, им кажется, что где-то близко, около них, за всем что уже испытано, скрыта еще одна, величайшая и сладостная тайна. Открыть ее, насладиться ею физически и духовно—вот чего они ждут! Я уверена, что лично я—не из таких женщин, и Фомин, создавая вас, едва ли думал обо мне. Хотя, вы знаете, эти писатели. . .

Продолжая свои умные и кокетливые разговоры с Волковым, женщина разыгрывает роман, рассказанный ей однажды Фоминым, до конца. Волков говорит между прочим: „И, наконец, я не знаю главного: должен ли я быть добрым человеком или злым?“

Улыбаясь, женщина протянула ему руку:

—Но вы не должны знать этого,—сказала она ласково, утешительно. Интерес и смысл вашей жизни именно в том, что вы—человек, плохо различаете добро и зло.

Дергая пуговицу фланелевого пиджака, человек недоверчиво спросил;

—Вы, в самом деле, так думаете?

—Да, я именно так понимаю вашу роль! Еслиб вы умели различать добро и зло, вам, я уверена, было бы очень скучно. А так интереснее!

Павел Волков задумался, ясно сомневаясь в чем-то. И было неестественно, что он не обращает внимания на ее руку, что сделал бы всякий другой мужчина на его месте.

—Д-да,—сказал он.—Но для кого же это интересно?

Для меня. Для вас. Для читателя, наконец. . .

—Гм. Для читателя?

Он провел ладонью по волосам своим, по глазам и, усмехаясь, покачал головою.

—Не находите ли вы, что это довольно жестокая забава? Подумайте: нас заставляют испытывать бесчисленное количество неприятностей стравливают друг с другом как—извините—псов, для того чтобы создать драматические коллизии, нас

треплют, как игрушки и все для того, что-б какой-то читатель, видимо скучающий человек, развлекался этим? Не слишком ли остроумно: заставить страдать одних людей для развлечения других? Кажется, это не моя мысль, а Фомина, но, право, хорошая мысль! Фомин, в сущности, порядочный человек. Он—не самоуверен, а, по моему мнению, это верный признак порядочности. Иногда он, бросив перо, спрашивает себя, зачем я это делаю, зачем пишу? Сам он не любит страданий, они органически противны ему, но, к сожалению, для писателя нет иного материала, кроме несчастий. . .

Женщина подвинулась ближе к нему и спросила:

— Скажите, как вы делаете эти ваши фокусы с тенью и зеркалом?

Сказав это, она почувствовала вероятно то же, что чувствует охотник, ружье которого выстрелило помимо его желаний, случайно. Это смутило ее, она тотчас ласково коснулась руки гостя.

— Не сердитесь!

Но под ее рукою не оказалось ничего кроме шероховатой вязаной скатерти: это было неиспытанно неприятно и даже—жутко. Но стало совсем плохо, когда раздался сердито укоряющий голос:

— Но вы—настоящая, обыкновенная, так называемая, реальная женщина! Зачем же вы меня мистифицировали?

Павел Волков встал, нелепо взмахнул шляпой и повторил с гневным недоумением:

— Какой смысл в этой мистификации?

Он поплыл на террасу, несколько секунд постоял в двери, струясь в лунном сиянии.

— Послушайте! — говорила женщина, медленно подходя к нему—ведь это—невероятно! Невозможно убедить меня, что вы...

Идя, она впервые убедилась, что земля действительно вращается вокруг оси своей, вращается с быстротой нелепой, ненужной.

— Читатели!—сказал Павел Волков, удаляясь и было ясно, что он вложил в это слово обидный, порицающий смысл. Шел он, держа трость под мышкой, и, достав из кармана перчатки, натягивал их на пальцы, как это делают знаменитые провинциальные актеры, играя роли героев. Но женщине казалось, что пальцы перчаток расправляются так быстро, как будто бы их надували воздухом.

В хитром освещении луны его фланелевая фигура принимала призрачный, зеленоватый оттенок. Вот она достигла берега пруда, группы берез и потерялась, исчезла в серебре стволов, в темном блеске воды.

На этом окончился галлюциноз женщины. Исчез мучивший ее призрак, исчезли все галлюцинации и...

Тихо прикрыв дверь на террасу, женщина ушла в маленькую и, разумеется, уютную комнатку, теплое гнездо, где она высиживала цыплят своей фантазии. Крепко потирая холодные щеки ладонями, она встала перед зеркалом,—оттуда на нее смотрели почти чужие глаза, округленные недоумением, испугом. Эти глаза не верили, что маленькая изящная женщина, которую они так великолепно украшают. . .

—Он—едва ли человек,—думала женщина.—Будь он человеком, мужчиной. . . В сущности, он почти оскорбил меня.

Она села к столу, поправила отстегнувшийся чулок и долго сидела, играя ножницами для ногтей. Потом стала полировать ногти замшей,—лучше всего думается, когда полируешь ногти. Очень жаль, что Эммануил Кант не знал этого. У женщины было много мыслей, но все они тревожно колебались, как пылинки в луче солнца, ни одна из них не нравилась ей и это возбуждало досаду. Ей надо было сделать усилие над собою, что-б заставить себя думать о Фомине.

И она подумала, что хотя этот мужчина некрасив, неуклюж, но все же он самый интересный человек среди ее знакомых. А подумав так, женщина с изумлением догадалась, что она давно и все время думает о Фомине и что все, что пережито ею десять минут тому назад,—просто игра ее души с человеком, который забавен больше других.

Тогда, раскрыв бювар, она торопливо, тонким английским почерком написала Фомину.

Милый Антипа Титыч!

Четверть часа тому назад я пережила нечто невероятное, фантастическое, безумное; прибавьте сюда все другие, более сильные эпитеты, если Вы имеете их, и все-таки они не определяют с достаточной глубиной и точностью того, что пережито мною.

Знаете, кто был у меня в гостях? Павел Волков, герой Вашего романа, человек о котором Вы так много и хорошо говорили мне, но которого я, все же,—помните? не могла достаточно ясно представить себе. Вы не должны думать, что у меня был какой-то реальный человек, похожий на него, нет это был именно сам Павел Волков, созданный Вами, и—простите!—мало похожий на человека вообще. Он назвал себя воплощением Вашей творческой силы, существующим в какой-то совершенно непонятной для меня форме: внешне—это человек, но внутренне что-то бездушное, незаконченное, неспособное подчиниться даже сексуальным эмоциям нормального

мужчины. Он прилично одет, но неловок и, действительно, как то весь недорожжен. Жаловался, что, создав его, Вы забыли о нем, и, возмущенный этим, он решил жить самостоятельно, тою силой, которой вы недостаточно наделили его. Так я поняла Вашего героя.

Пожалуйста не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала, — ничего подобного. И доказательством моего душевного здоровья должно служить то, что я отнеслась к этому странному, все-таки, визиту вполне спокойно, разумно и критически.

Ваш герой решительно не понравился мне. Я уверена, что с таким человеком в центре событий, роман Ваш будет неудачен. Разве может быть что-либо интересное в жизни неинтересного человека! Он даже не особенно умен, этот Волков. Он не удался Вам и Вы должны как-то переделать, переписать его. Во всяком случае Вам необходимо сделать так, что-б это существо не шлялось по земле, каким-то полупризраком, — я не знаю чем! и не компрометировало Вас. Подумайте: сегодня он у меня, завтра у другой женщины, — он ищет женщину, как Диоген искал человека. . .

Она перестала писать, подумав: не придается ли ей излишняя реальность этому случаю и не смешно ли пишет она? И решила: пусть останется так, как написано, это забавнее!

Она писала еще много, испытывая все более острое желание уничтожить Павла Волкова. Зачем нужен он? Зачем, вообще, нужны неприятные, неудачно выдуманные люди?

А кончив письмо десятком ласковых слов, она позвала горничную, велела ей плотней закрыть окна, хорошенько запереть дверь на террасу и сказала ей:

— Вы, Глаша, ляжьте в соседней комнате, я чувствую себя не совсем хорошо и, может быть, ночью позову вас.

Потом разделась; легла в постель и, пытаясь представить как Фомин отнесется к *ее письму*, уснула..

Что случилось после всего этого с женщиной, Горький не знает, но он думает, что она написала мужу:

«Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобою».

Мы теперь знаем все необходимое для того, чтобы определить *психиатрически* случай «женщины», который далеко не так прост и понятен, как это могло бы показаться на первый взгляд.

Сама женщина склонна была думать, что она пережила «вечто невероятное, фантастическое, безумное ; несколько, строк ниже, однако, она пишет в своем письме Фомину: «Пожалуйста не думайте, что я сошла с ума, галлюцинировала, —ничего подобного».

Это непонятное противоречие находит свое объяснение в том, что обыкновенно люди менее всего могут себе простить галлюцинацию, ибо «сойти с ума» и галлюцинировать идентичные для них понятия. А кто хочет сознаться, что он сошел с ума?

Между тем, не может быть никакого сомнения в том, что женщина галлюцинировала, необычайно много галлюцинировала и при этом, конечно, не сошла с ума, ибо не всегда галлюцинация является симптомом душевной болезни, хотя и верно, что всегда галлюцинация имеет своим источником психопатологический какой-нибудь процесс.

Что касается нашего специального случая женщины Горького, то женщина страдала *сексуальным комплексом*, в котором она себе сознаться не хотела, который она, видимо, всячески старалась вытеснить, но который ею тем не менее так овладел, что дело дошло до галлюцинаторного припадка, в котором до некоторой степени находят свое осуществление те желания, которые полусознательно волнуют душу Женщины и требуют своего удовлетворения. К счастью Женщина сейчас же догадалась, отчего и как она впала в «безумное» состояние и умела выйти из положения, не заболев окончательно душевно.

Сексуальный комплекс Женщины, кристаллизировался вокруг знакомого писателя Фомина. Писатель этот — некрасив, как будто и мало талантлив и «вообще не следует любить писателя, каков бы он ни был» — так рассуждает Женщина, старалась отвлечься от своего комплекса. Женщина хочет остаться верной своему мужу, не хочет признать тлеющую в ней любовь к Фомину, хоронит эту любовь и заставляет себя думать, что не любит его. В глубине же ее души любовь к Фомину отчасти бессознательно продолжает зреть и, созревши, ищет выхода ищет удовлетворения. Но бессознательный комплекс может проявить себя только бессознательно, а не каким-нибудь сознательно волевым актом. И тут приходит на помощь бессознательному — галлюцинация.

В предыдущем очерке о галлюцинозах в главе об аллогаллюцинозе, я вел речь о том, что галлюцинация по своей сущности есть исполнение бессознательного, вытесненного желания, и что желания, паходящие свое исполнение в галлюцинациях, — страстные аллогаллические желания, исполнение которых в жизни реальным путем оказывается совершенно невозмож-

вым. Галлюцинация же, не требующая никакой жертвы, никакого усилия воли, совершающаяся благодаря внутренним механизмам, бессознательно в силу психофизиологической необходимости приводит в исполнение невозможное. Если этическая цензура не допускает тяжелого алголанака совершить сладострастное убийство, то галлюцинация дает ему это удовлетворение, ибо галлюцинировать убийство не в пример легче, чем решиться убить человека, момент же алголании остается в силе, ибо галлюцинант не может себе простить жестокости галлюцинации и страдает самыми жестокими угрызениями совести.

Легко узнать, что нечто подобное происходит и с Женщиной. Женщина запрещает себе любить писателя Фомина, находя такую любовь преступной. В глубине же души она не перестает любить его. Отрешившись от Фомина разумом, она чувством его рабыня, при чем разум не позволяет Женщине опознать это. Любовь вытеснена. Но вот активизируется бессознательное в жизни, а это оно может, как бессознательное в одних только галлюцинациях.

Однако, в галлюцинациях, ведь, нет самого писателя Фомина! Это нас менее всего смутит. Мы знаем, что скрытые сексуальные желания, находящие свое удовлетворение в галлюцинациях, продолжают нередко оставаться скрытыми и в галлюцинациях. Из сексуальной теории галлюцинаций нам известно, что галлюцинации для осуществления запретных мечт галлюцинирующего идут окольными путями, чтобы воспрепятствовать разуму своевременно оказать разрушительное свое действие на их развитие. Символы, замена лиц, всякого рода маскирующие приемы пускаются галлюцинациями в ход для обмана разума, могущего стать галлюцинациям по дороге.

И вот Женщина видит в галлюцинациях не самого Фомина, а какого-то «недоделанного» героя недописанного его романа, при чем Женщина делается действующим лицом этого романа и должна влюбиться в Павла Волкова (галлюцинирующий герой), что ей никак не удается. Когда же, однако, мираж галлюциноза Женщины прошел и Женщина начала разбираться в своих переживаниях с целью понять то «невероятное, фантастическое, безумное», которое она только что проделала в галлюцинозе, она сразу догадалась, что во всем виновата ее любовь к Фомину и чтобы избежать возможных повторений таких кошмаров, чтобы избавиться от угрожающего ей душевного заболевания при попытке дальнейшего вытеснения разгорающейся страсти, она бросается в руки любви или, как думает Горький, она написала мужу: «Прости, Павел, но я не могу больше жить с тобою».

Психологически подмена Фомина в галлюцинации неудачным его героем понятна и потому, что Женщина, вытесняя сексуальный свой комплекс, видела в Фомине бедного неудачника, недостойного любви, что она неоднократно слышала и от окружающих ее людей. Подмена неудачника неудачником психологически вполне понятна, при чем галлюциноз убедил Женщину, что каким неудачником Фомин ни будь, она не может не любить его, ибо даже Павел Волков ей мил и дорог, и когда он исчезает из ее взоров, она глубоко потрясена, все равно как она в течение галлюциноза готова была в него влюбиться. . .

Женщина, галлюцинируя, страдала глубоко, страдала и от непонятности переживаний и от неоправданной потребности любви к неудачнику, к человеку, якобы, не заслуживающему ее любви. Момент алголяции не отсутствует и в данном случае галлюциноза, как он вообще никогда не отсутствует при любви, проявляясь в той или другой форме. Мы можем, таким образом, присоединить случай Женщины к числу пока-что мало в литературе описанных случаев весьма интересного заболевания аллогаллюциноза, как abortивный случай аллогаллюциноза.

После того, как я определил случай Женщины как abortивный случай аллогаллюциноза и описал его таким, я обратился к Максиму Горькому с просьбой сообщить мне некоторые подробности о „Женщине“ в „Рассказе об одном романе“, а именно, является ли она реальной личностью или плодом его фантазии и т. д. На мой запрос Горький ответил мне, между прочим, следующее:

В «Рассказе об одном романе» женщина, Вас интересующая, выдумана мною. Как видите, она играет только роль „приемника“ некоторых мыслей автора о судьбе детей его фантазии, беспризорных детей. Иногда хочется пошутить. Вот и все».

Горький великий реалист. Это признано, по словам Горького, как его друзьями, так и его противниками. И вот, когда Горький задался раз целью дать нам «выдуманную» женщину, он тем не менее дал нам самую реальную женщину, которую можно только себе представить.

Ничего выдуманного нет в „Женщине“ несмотря на то, что она выдумана, и менее всего можно видеть в „Женщине“ — шутку автора! Тема, разрабатываемая Горьким, черезчур серьезна, и наводит она на столь глубокие мысли, что, пожалуй, преступно было бы отозваться о «Рассказе об одном романе»

как о простой шутке, кому бы то ни было другому, кроме самого автора. Что касается самих авторов, то они очень часто пишут гениальные произведения, сами того не чая. *Сервантес* (1616) в «Дон-Кихоте» хотел дать читателю „простую шутку“, а эта «шутка» остается и по наши дни одним из самых гениальных произведений всемирной литературы. К такого рода «шуткам» принадлежит и «Рассказ об одном романе» *Максима Горького*.

В этом рассказе нарисована с удивительной правдивостью, с редкой психологической точностью и еще более редким психиатрическим умением галлюцинирующая женщина. Если выдумана «Женщина», то ничего не выдумано из всего того, что *Горький* рассказывает о «Женщине». Вот чем объясняется, что я, несмотря на уничтожающую характеристику *Горьким* своего «Рассказа об одном романе», как выдуманную шутку, передаю его опытному читателю психиатру, как литературный документ редкой психиатрически-научной ценности.

III. Случай Константина Миронова.

К учению об эпизодических сумеречных состояниях (Kleist).

Среди конституциональных душевных заболеваний заслуживает наше особенное внимание та группа картин заболевания, которую *Клейст* (Kleist) недавно выделил под названием эпизодические сумеречные состояния ¹⁾. Мы усматриваем в учении *Клейста* об эпизодических сумеречных состояниях новый успех современной психиатрии, который в состоянии, если не особенно углубить наши знания о конституциональных душевных расстройствах, то во всяком случае двинуть их немного вперед; кроме того, надо надеяться, что благодаря эпизодическим сумеречным состояниям будет внесено больше систематики в большую путаницу конституциональных душевных расстройств, выигрыш, который ни в коем случае не должен остаться не оцененным. Таковы главные причины, заставившие меня заняться с мало популярными эпизодическими сумеречными состояниями, тем более, что мне подвернулся особенно интересный и поучительный случай.

Прежде чем перейти к моему случаю, я хотел бы дать краткую характеристику эпизодических сумеречных состояний на основании данных *Клейста* в его книге.

¹⁾ Kleist, K. Episodische Dämmerzustände Ein Beitrag zur Kenntnis der konstitutionellen Geistesstörungen Leipzig. Georg. Thieme. 1926.

Основной признак этих сумеречных состояний это *эпизодический образ их течения*. Внезапное начало и быстрое развитие часто самых тяжелых явлений заболевания, короткая иногда ограничивающаяся лишь несколькими часами, большую же частью несколькими днями продолжительность, такое же быстрое падение явлений характеризуют их больше, чем вызывающие их моменты. Если и верно, что они в большинстве случаев возникают автохтонно, то все же встречается иногда реактивное их возникновение или же оба момента (автохтонный и реактивный) действуют за одно. Они представляют собой эпизоды и в течение жизни заболевших ими людей, так как они являются временными „соскальзываниями с колеи“ (Entglisungen), странными вторжениями в жизнь больного (fremdartige Zwischenspiele) а не фазами, как это почти всегда бывает при более продолжительных маниакальных и меланхолических состояниях, которые представляют собой составные линии всей кривой, изображающей жизнь человека (Strick und ganz e Lebenskurve eines Menschen).

Эпизодические сумеречные состояния подразделяются на:

1. Простые или импульсивные сумеречные состояния.
2. Галлюцинаторные сумеречные состояния.
3. Сумеречные состояния с бредовыми идеями отношения и беспомощностью.
4. Экспансивные сумеречные состояния.
5. Психомоторные сумеречные состояния.

Особенности каждого из этих видов эпизодических сумеречных состояний в большей своей части стоят в связи с различиями в возникновении и с особенностями различных симптомов. Иногда ведь достаточно различие в интенсивности одних и тех же симптомов у лиц с различными прирожденными задатками, для того, чтобы у них возникли различные картины болезней. В общем для различения эпизодических сумеречных состояний от эпилептических и других сумеречных состояний служат расстройства сознания, функций сна и бодрствования, узнавания, памяти, ориентации, ненормальные инстинктивные побуждения, импульсивность, быстрые колебания аффективности со страстными импульсивными аффектами боязни, гнева, экстаза, ненормальные телесные ощущения (головные боли, расстройства желудка, невралгические боли в руках и ногах)—основные симптомы эпизодических сумеречных состояний, накладывающие свою печать на больного и отличающие его от родственных картин заболевания. Встречаются случаи эпизодических сумеречных состояний, с различными другими симптомами (сверх указанных), как расстройства личности и авто-

психической ориентировки, бессмысленные бредовые идеи отношения, психомоторные расстройства, инкогерентная скачка мыслей в связи с патологическим возбуждением мыслительной деятельности, обманы чувств, которые все вызывают при своем наличии тот или другой вид эпизодического сумеречного состояния—галлюцинаторный, экспансивный, психомоторный, импульсивный.

Начало заболевания падает на период жизни между 18 и 44 годом, в среднем на 29 год. Начало дает себя знать слабостью, усталостью и своеобразно раздражительным изменением настроения. Основное душевное состояние соответствует такому эпилептиков (гневная раздражительность, импульсивные решения, склонность к головным болям и своеобразному изменению настроения), часто же оно носит характер реактивной лabilityности, или же необщественно-спокойного существа (аутист). Наследственное отягчение приходится принять во внимание, конститутивные обстоятельства играют роль. «Что касается сущности заболевания, то приходится, имея в виду течение и исход заболевания, исключить кататонию и другие психопатические заболевания, а также эпилепсию в более узком смысле. Эпизодические сумеречные состояния могут быть рассматриваемы, как эпилептоидные, если под этим понимать не идентичное с эпилепсией заболевание, а частично одинаковые у обоих заболеваний симптомы или конституциональные признаки. Все же имеются сходства с явлениями кататонии и более редких дегенеративных психозов (галлюцинозы, экспансивные автопсихозы). Вероятно, мы имеем перед собой ненормальные конституции мозга с недостаточной, предрасполагающей к эпизодически автохтонным колебаниям закладкой, особенно в субкортикальных центрах, регулирующих сознание; возможно также, что одновременно понижена сопротивляемость мозгового фильтра крови, так что эндотоксические и эндокринные вещества могут усиленно действовать на мозг и на определенные им родственные центры».

После того, как мы в такой мере познакомились с теорией эпизодических сумеречных состояний, мы можем обратиться к нашему случаю.

Миронов—герой рассказа Максима Горького, озаглавленного «Голубая жизнь». Из этого, однако, не следует, что мы имеем дело с выдуманной личностью, с каким-то «баснословным зверем». В действительности мы имеем дело с настоящей историей болезни, которую рассказал Горькому Александр Алексин, врач, лечивший Миронова, когда он, находившись в психиатрической лечебнице, сломал себе руку, и которую Горь-

кий хотя и литературно, но все же правдоподобно передает. Впрочем Горький видел, много лет спустя после его выздоровления, психически здорового Миронова говорил с ним долго и свидетельствует о том, что Миронов снова сделался полезным членом общества, психически вполне здоров и— „Константина Дмитриевича Миронова уже никто и ничто не сведет с ума“.

Миронов—единственный сын одной не совсем идеальной брачной четы. Отец хотя и был несколько одарен и изобретатель, но слабого телосложения и болезненный (две легких). Он вел весьма непродуктивный образ жизни и всю свою изобретательность он употреблял на конструирование игрушек, которые нередко служили поводом к самым бурным семейным сценам. Так, напр., он сделал музыкальный ящик, который играл кадрили «Вьюшки», песню «Матушка, голубушка» и гимн „Коль славен наш господь“. Ящик этот мать, пьяная, разбила, растоптала ногами.

„Самое лучшее, что сделал отец и что Костя бережно хранил, это глобус, подарок отца в тот день, когда Костя перешел во второй класс гимназии. Глобус был обыкновенный, но нижнее полушарие его отец заключил в медную чашку для мытья чайной посуды, вытравил на ней кислотою океаны, континенты, острова, искусно раскрасил их, набил в медь чашки стальными шпильки и припаял на штативе стальную гребенку, так что она обнимала нижнюю часть глобуса.

Когда Костя повернул земной шар на оси, гребенка бойко начала тренькать веселую песенку «Чижик, пыжик — где ты был».

Однажды же, когда Миронова-мать уехала на богомолье в монастырь, отец приделал ко всем дверям квартиры деревянные дудки с резиновыми мячами на концах; отворишь дверь—дудка пронзительно, свистит, и заворишь—свистит. Когда мать возвратилась домой, это страшно рассердило ее:

— Что ты, дьявол, издеваешься надо мной!—закричала она, побагровев, и, отхлестав отца по лицу мокрой, грязной тряпкой, переломала все дудки“.

Это был, конечно, не первый и не последний раз, что Миронова мать так безбожно грубо обращалась с болезненным и бесхарактерным своим мужем. Он вскоре после рассказанного случая внезапно умер от туберкулеза легких (?).

Четыре года спустя, последовала ему Миронова-мать, которая не переставала сильно пьянствовать. Она до того пья-

ствовала, что насыщала постоянно воздух запахом алкоголя, риннованного лука и моченых яблок, любимой ее закуски. Весь дом был насыщен этим запахом. Миронова мать так же внезапно умерла, как ее муж от апоплексии.

Так Миронов рано остался без родителей—круглым сиротой, обстоятельство, которое, как мы сейчас убедимся, сыграло весьма печальную роль в дальнейшем течении его жизни.

Уже при жизни родителей сделалась у подрастающего Миронова заметной склонность к тяжелым настроениям в связи с семейными переживаниями. Молодой Миронов тяжело страдал, что его постоянно пьяная мать невыносимо обижала любимого им отца, несмотря на слабое состояние здоровья этого последнего. Любовь к отцу принимала характер печальных, страдальческих переживаний, и молодой Миронов до того свыкся с печальными своими настроениями, что у него возникло чувство недоверия ко всему веселому, что рассказывал отец о своей жизни.

И тогда же он испытал одно из тех, навсегда памятных впечатлений, которые формируют душу человека: в густой листве обильно цветущей липы гудели пчелы, этот непрерывный, струнный звук, поглощая все другие небогатые звуки знойного дня, возносился в голубую пустоту небес, превращаясь там в чудесное пение.

Миронов, удивленный, долго, до боли в глазах, смотрел в небо и, наконец, поймав там дрожащую точку, как бы темную звезду без лучей, догадался, что это поет жаворонок. С того дня у него явилась потребность думать звуками, вторить всему, о чем думалось, песнью без слов*.

Имевшаяся у Миронова постоянно склонность к своеобразным печальным настроениям и к одиночеству усилилась у него после смерти отца, т. к. он питал отвращение к постоянно пьяной матери и некому было занять возле Миронова место умершего отца. Миронов жил одиноко, и он сделался еще более замкнутым. Он полюбил удить рыбу, гулять одиноко в поле, в лесу, слушая пение птиц, шелест травы, листья, странные шопоты ветра. Особенно хорошо по праздникам слушать издали музыку военного оркестра; вблизи, когда видишь как солдаты, надывая щеки, делают музыку, она не радует, не утешает. Иногда он брал с собою французскую грамматику и читал ее, стараясь запомнить четкие слова, но память не удерживала их и не слагаясь в понятную речь, они таяли, превращались в необыкновенные сочетания красивых звуков, в голубую музыку.

Лиза Розанова понравилась Миронову в первый день пасхи, когда он увидел ее одетой в голубое платье; она шла из пер-

кви, торжественный звон колоколов провожал ее, щедро освещало праздничное солнце, маленькая стройная, и в то же время пышная, как необыкновенный цветок, она была вся голубая, даже в голубых чулках".

Это тяготение ко всему голубому, мышление «в голубых мелодиях», „голубая музыка“, в которую выливаются незнакомые французские слова, одним словом *Комплекс голубого*, имеющий свое начало в своеобразном переживании детства в знойный летний день оказывает долгое время сильное давление на развитие жизни Миронова ¹⁾ и делается даже причиной одного из самых печальных событий его жизни—душевной его болезни, которую мы рассматриваем, как ряд эпизодических сумеречных состояний.

Вскоре после смерти его матери, когда Миронов сделался самостоятельным домовладельцем, он вздумал окрасить свой дом в голубой цвет. В этом намерении Миронова легко усмотреть действие голубого его комплекса.

В маленьком городке, где жил Миронов, эта его затея сделалась большим событием. Критиковали всячески Миронова, красящего свой дом в такой непрактичный цвет. Сосед Миронова, уважаемый Иван Иванович Розанов, стал могиментом посреди улицы и закричал на маляра, красящего дом Миронова:

- Эй, ты как это красишь?
- Как велено —непочтительно ответил маляр.
- Почему—синим?
- Так велено
- Это улицу безобразит!
- Не мое дело.
- Экая глупость!
- И глупость не моя.

Ночью Миронов, лежа без сна в постели, услышал подозрительный шум. Он оставил постель, спустился через окно на улицу, где он в ярком лунном свете мог видеть, как на верху лестницы прилепился человек и, макая коротенькую кисть в деревянное ведро, висевшее на поясе у него, торопливо мазал вокруг слухового окна. Миронов негромко спросил: «Это кто?»; после чего незнакомый быстро соскользнул с лестницы, при чем он разлил по стене деготь, находившийся в ведре. Миронов мог при ярком свете луны прочитать над слуховым окном неясные хотя крупные буквы: „Дом“, в челове-

¹⁾ Из-за этого комплекса голубого или, может быть, лучше из-за голубого комплекса *Горький* озаглавил свой рассказ. «Голубая живнь».

ке же, который тем временем спустился на землю и отбежал прочь, Миронов узнал столяра Каллистрата.

Каллистрат представлял собой чудака, который всю свою жизнь стремился к тому, чтобы вызвать у людей удивление, чтобы «отличиться». Для достижения этой цели он выбрасывал различного рода шутки, как, напр., следующую: он, бывало, нальет керосину в почтовый ящик для писем, сунет туда зажженную спичку, письмо-то и горит, а никто ничего не понимает. Даже в газете писали: отчего письма горят? От жарких чувств, пишете хладнокровно.

Этот же самый столяр Каллистрат, хотя и малограмотный, обладал способностью воздействовать на людей и подчинять их своей воле. Такую же задачу поставил себе Каллистрат и по отношению к Миронову, которого, как он думал, он хорошо понял.

Миронов бросился в глаза, как Каллистрату, так и большинству других жителей города, благодаря своей крайней замкнутости, которую Каллистрат толковал таким образом, что Миронов хочет удивить людей, и, как он, Каллистрат, стремится «отличиться», хотя бы таким решением, как выкрасить дом голубой краской. Каллистрат чувствовал себя, поэтому, по своей природе родственным Миронову, питал к нему не совсем скрытые чувства симпатии и хотел иметь над ним во что бы то ни стало определенного рода власть, хотел подчинить его своей воле. Это ему удалось в такой мере, что он вскоре сделался для Миронова ужасным деспотом, от железной руки которого Миронов уйти не мог, железная рука, которая вогнала его в душевную болезнь.

Уже в ту лунную ночь, когда Миронов поймал Каллистрата на лестнице с ведром дегтя за поясом, удалось Каллистрату навязать Миронову свои услуги, несмотря на то, что Миронов чувствовал по отношению к Каллистрату явную боязнь и враждебность. Миронов согласился дать Каллистрату сумму в 10 рублей, для того, чтобы Каллистрат красил его, Миронова, дом.

Каллистрат хотел в своей новой роли маляра показать свое искусство «удивлять людей» и «отличиться», нарисовав на стене какое-то чудовище, должен был сейчас же признаться, что взятая им на себя задача ему не по силам и отказался по настоянию Миронова от роли маляра.

Однако, Каллистрат не терял уже больше своего влияния на слабовольного Миронова. Достопримечательно, что Миронов, который в душе считает Каллистрата сумасшедшим, жуликом, негодяем, каждый раз, когда он с ним сталкивается в жизни,

капитулирует перед ним, и столяр вскоре празднует над Мироновым полную победу: он делается собственно единственным хозяином в доме Миронова. Он определяет к Миронову в бесплатные дворники возчика Артамона, баснословно крепкого мужика, которого он уже давно подчинил своей воле, как теперь Миронова, и распоряжается во всем остальном по своему усмотрению в доме Миронова.

Миронов в полном отчаянии, что он — безвольная игрушка в руках Каллистрата, не может, однако, себе помочь. При одной мысли о столяре, он не может подавить чувство появляющегося у него перед ним страха. Хотя Миронов не верит в колдунов и кудесников, все же он читал и слышал о людях, обладающих тайной силой, и, ему казалось, что вскоре, может быть завтра, придет день, когда столяр проявит подобного рода силу, в самой страшной форме проявит ее.

«День этот наступил все-таки неожиданно, — в воскресенье вечером столяр пришел с девицей; толстеньякая, на коротких ножках, она ослепила Миронова пунцовой, шелковой блузой и жадным блеском множества мелких зубов, хотя рот у нее был маленький, точно рот окуня. Ее надутые щеки пылали багровым румянцем, на пальце левой руки блестел розовый камешек, Миронову показалось, что и глаза у нее розовые, как у белой мыши.

— Зовут Серафима, — сказал столяр, подталкивая ее к Миронову, — отличная девица!

Она улыбалась, от нее исходил раздражающий запах. Когда она села на стул, белая юбка ее, туго натянувшись на огромных полушарях бедер, приподнялась, обнаружив круглые, беспокойные ноги, она тотчас начала шаркать по полу подошвами, постукивать каблуками. Ее темные волосы гладко причесаны, заплетены в косу и, сложенные на затылке калачом, укреплялись большим желтым гребнем, — это напомнило Миронову курицу.

— Фу, как ужасно жарко! — сказала она, обмахивая раскаленное лицо свое белым платочком.

Столяр нарядился в серый парусиновый пиджак, в синюю рубаху, косоворотку, с вышитой грудью, его суконные шаровары были заправлены за голенища ярко начищенных сапог, он, видимо, начистил и медную бородку свою, курчавые волосы на голове его извивались, как языки огня. Сухое, ястребиное лицо было строже и беспокойнее чем всегда, зеленоватые глаза ядовито блестели, все видя, все понимая.

— Не избалована, понимает в хозяйстве, и, видишь, в теле, — говорил он, следя, как отличная девица разливает в ста-

каны чай, а она густым, сладким голосом спрашивала Миронова.

— Вы как любите—крепко?

Миронов сидел против ее, согнувшись над столом, он чувствовал, что у него дрожат глаза, кривятся губы и что ему неудержимо хочется высунуть язык и облизывать губы так же, как это делала отличная девица, слизывая варенье с ложки. Он нарочно улыбался, — пусть эта курица видит, как некрасивы его зубы.

Губы у нее очень красные, толстые, какие-то двухэтажные, они обцасывают косточки вишен до белз, такие губы могут высосать всю кровь из человека. Слова столяра: «понимает» «в теле» и ее вопрос: «Вы любите крепко?» заставили его покраснеть, вызвав в памяти непристойные собачьи игры, он нарочно задел ложкой край стакана, опрокинул его, вылил остывший чай на колени себе, вскочил, выбежал на крыльцо,— дождь лениво кропил горячую зе лю, тихонько звенела листва деревьев, сизоватые тучи, суживая пространство, стгущали духоту.

— Он хочет женить меня на этой,—думал Миронов, ловя ладонями крупные, редкие капли дождя, растирая их, и чувствовал в воздухе раздражающий запах пота девицы, этот запах вызывал у него вместе с отвращением еще иное чувство, тоже тяжелое, но влекущее к ней.

— Не ожогся?—спросил столяр, являясь на крыльце.

— Послушайте,—тихо, торопливо заговорил Миронов, прижав ладони к своей груди,—я не хочу жениться, пожалуйста не надо!

Он вспомнил слова матери и—обрадовался, повторяя их, поднял кулак:

— Какой я муж? Муж должен быть—вот! И вы тоже говорили... Уведите ее! Я лучше дам ей двадцать пять рублей и вам, если хотите, даже пятьдесят,—серьезно!

У него полгибались ноги, он чувствовал, что готов встать на колени перед*столяром, а тот, стоя выше его на ступень, держа себя рукою за бороду, безжалостно усмехался и говорил неотразимо:

— Совсем одичал ты, Миронов, скука! Нет, женить тебя—обязательно! Ты тут заболтался в книжках, сирота, замечтался, у тебя кровь к голове приливает, ишь ты—какой, даже посинел! И губы трясутся—отчего? От этого самого,—пора жить законно! Заведешь жену, пойдут дети...

— Не могу, не хочу я...

— На это тебя хватит, а удивлять людей не пытайся, удивить тебе нечем! И—обжуют тебя вскоре...

Миронов опустил голову, а столяр взял его за руку, поднял к себе и, стряхивая с него пылинки дождя, говорил:

— Я—людей знаю! Покажут тебе, будто ты замечательный, будто они тобой интересуются и—ограбят, обманут. Это—самое обыкновенное...

Закрыв глаза, Миронов видел, как по улице бежит табун мальчишек, швыряя жидкой грязью в голубые дома, все они—его дети, а отличная девица, сидя у окна, жует моченые яблоки и пироги с рыбой,—он терпеть не мог моченых яблок и этих пиров.

Потом он снова сидел против Серафимы, она как будто, еще более вспухла, мячи ее грудей тяжело поднимались, опускались, шевеля пунцовый, скрипучий шелк; ее маленький, круглый рот устало открылся, в пальцах, похожих на сосиски, она держала белецкий комок платка, часто отирая им потные виски, розовые глаза ее улыбались, таяли; Миронов подумал, что пот ее густ, как патока, такой же липкий, и, вероятно, ни комары, ни блохи не решаются кусать ее резино-вое тело.

А столяр, наливая в чай вишневой настойки, пил горячую, темную влагу, она окрасила его сухое лицо в бурый цвет, еще более высветила глаза и усилила неотразимость слов его. Бесстыдно, хвастливо он говорил:

— Для меня—первое удовольствие свадьбы устраивать. Я люблю шум, кавердак люблю, мне любезна всякая кутерьма и чтобы люди ходили вверх ногами. Когда молодежь влюбляется, очень смешно смотреть...

Но, говоря это, он не смеялся, даже улыбки не было на лице его; следя за ним косым глазом, Миронов видел, что лицо только подергивается,—страшное лицо. И хорошо еще, что сегодня столяр не надел на башку свою ременный, черный венчик.

— Ты, Миронов, сирота, учись жить весело, извивайся свободно, согрешешь—не беда, отчет давать тебе некому, хозяйина нет, понял? Кто твой хозяин, ну?

— Я—не знаю,—сказал Миронов, почему-то очень испуганный этим вопросом.

— То-то! Кабы не девица тут, я бы сказал, кому ты в твои годы служить должен, ну, при девице этого нельзя сказать, хотя она, конечно, знает, шельма! Знаешь, Фимка?

— Ничего я не знаю,—сонно сказала отличная девица, и тотчас Миронов почувствовал, что до ноги его дотронулись, а

потом крепко сжали ее башмаки гостя. Это прикосновение, спугнув какую-то неясную, но важную и тревожную мысль, испугало Миронова, вырвав ногу свою, он подпрыгнул, закричал:

— Что вы?

Шея, подбородок, щеки, лоб отличной девицы густо покраснели, а столяр, хлопнув Миронова по боку, захохотал, вскрикивая:

— Знает, шельма, знает!...

Миронов плохо помнил, что было потом, когда столяр, смеясь, вышел из комнаты, а девица, встала, улыбаясь, подошла к нему:

— Ах, какой вы, как сконфузили меня перед дядей..

Она сидела рядом с ним, спрашивала, любит ли он суп из гусиных потрохов, и тут Миронов сказал ей, что в Париже гусиные потрохи бросают собакам, что там вообще не любят никаких пакостей и моченых яблоков, что там живут благородные люди, никто из них не лезет насильно в чужой дом..

Затем какая-то сила приподняла его на ноги, закружила в густой горячей темноте, в ней исчезла эта отличная девица, но тотчас же явился столяр, схватил его за руки и спросил откуда-то издалека:

— Ты, что же, девицу толкаешь? Разве это можно? Она племянница мне, а тебе еще не жена. И посуду побил,—что такое?

Миронов слушал изумленно; столяр стоял вплоть к нему, а голос его доходил откуда-то из-под пола, из-под ног; под ногами хрустели черепки разбитых чашек, и все странно плыло куда-то, колебалось.

— Если ты слаб на вино—не пей!—строго внушал столяр, поднося к лицу его стакан синеватой воды, Миронов взглянул в глаза столяра и крепко зажмурился..

Так кончилось первое тяжелое сумеречное состояние Миронова. Ночью он спал довольно хорошо (все же ему приснился страшный сон, благодаря которому он раз проснулся), когда же он на следующий день открыл глаза, то он все еще находился под впечатлением вчерашних переживаний и опасности быть насильно женатым, и он придумывал бессмысленные планы поездки в Париж, куда, конечно, столяра не пустят... Он хотел продать дом, двор, сад, при чем заметил, что он своеобразно неправильно назначает сумму, за которую следовало бы продать имущество—«все это надо продать за четыреста семьсот рублей».

— Так не считают,—вслух поправил он себя,—это будет тысяча сто.

Но он чувствовал, что ему приятнее считать именно в двух числах,—они давали вдвое больше полей, чем тысяча сто, а в полях такая утешительная простота.

— Ноли-ноли-ноли,—запел он.

Его страх перед столяром усилился, и он думал только об одном: как спастись от него. Он тайно оставил дом, провел весь день в поле, на речке, на кладбище, где должно было состояться «назначенное» им Лизе Розановой свидание. Свидание, конечно, не состоялось. Вечером он вернулся домой.

«Вошел в свою комнату и, не зажигая огня, не шумя, разделся, лег в постель. Не спалось, покусывали комары, щипала тревога и казалось, что столяр где-то близко, возможно что он в саду, притаился под окном или сидит на крыше, около трубы, держа себя за бороду, подумывая, что завтра сделать с Мироновым. Сбрасывая одеяло, Миронов садился на кровати, спускал ноги на прохладный пол, прислушивался,—все было тихо, по крыше лениво стучали капли дождя; комнату наполняла плотная, теплая тьма, в ней одиноко ныл заплутавшийся комар. Миронов взял подушку, положил ее себе на колени, и—ждал:

— Комара надо убить.

Его покачивала усталость, он валился на бок, дремал не выпуская подушку из рук и снова, просыпаясь от какого-то внутреннего толчка, садился на кровати, слушал, наблюдал как медленно, сквозь неподвижные темные листья цветов на окне комнату наполняет сероватая пыль рассвета, присматривался к суетной, бессвязной возне воспоминаний, покорно ожидал, когда все это оборвется, исчезнет. Был такой момент: вдруг все сжималось тяжелым комом и сбрасывало Миронова в черную пустоту, в безмолвие, в неподвижность.

Этот момент наступил, когда уже взошло солнце, облив стекла окна расплавленным жемчугом.—Миронов оглушенно свалился на постель, уснул, но тотчас же, как показалось ему, был разбужен странным каким-то скрипом.

В комнату вошел человек, одетый в желтое, пронзительно скрипя, он бесперомонно сел на кровать, взял руку Миронова одной своей коротенькой влажной рукой, вынул из кармана черные часы и, глядя на них, спросил высоким голосом, в тон старого приятеля:

— Ну, что же мы чувствуем?

— Ничего мы не чувствуем,—сердито ответил Миронов.

— А что же вам болит?

— Что такое—вамболит?²—задорно и насмешливо спросил Миронов.

— А спали как?

— Лежа.

Миронов засмеялся, восхищаясь бойкостью и остроумием своих ответов. Он чувствовал себя бодро, даже весело, а человек этот нравился ему, хотя он дышал запахом ваксы, но, тучный, коротенький, смешно напоминал ожившую игрушку «Ванька-встань-ка». Лицо у него было надутое, синее, и по синеве его забавно плавали какие-то необыкновенные, желтые глаза, как звезды без лучей, такие звезды бывают влажными ночами; Миронов взглянул в окно,—по небу быстро плыло синеватое облако, напоминая что-то вчерашнее, неприятное...

Щелкнув челюстью, человек потер ладонью свой синий подбородок и сказал:

— Вы меня знаете,—нет? Я—фельдшер Исаков, Исааков...

Миронов несколько смутился и, желая скрыть это, спросил:

— Который час?

— Половина первого.

— Ого! Я есть хочу.

— Это очень полезно,—одобрил фельдшер Исааков, засовывая в карман жилета черные часы.

В комнате стало светло, слова плавали в солнечном свете радужными пузырями; следя за их полетом, Миронов сказал:

— Вот и всегда бы так!

— Что?

— Все.

Он и внутри себя чувствовал радостное, легкое, приподнявшее его с земли. Босой, в нижнем белье, он пошел в кухню умываться, но в двери остановился, увидав склоненную над столом светлую голову в темном венчике,—столяр, согнувшись, что-то писал карандашом в грязной, растрепанной книжке. Миронов бесшумно повернулся и сел на постель. Все бодрое, радужное тотчас погасло.

— Что такое?²—нараспев спросил фельдшер, щупая его виски липкими пальцами,—Миронов отвел его руку, тряхнул голову, спросив шопотом:

— Это он вас привел?

— Ну, да! А—что?

— Он где ночевал?

— Я знаю разве? Ночуют обыкновенно дома.

— Ог—необыкновенный.

— Почему?

Мионов не ответил на этот и несколько других вопросов фельдшера, упираясь руками в край постели, он покачивался, кусал губы и напряженно думал: как избавиться от столяра?

Скрипя подошвами, фельдшер ушел в кухню, а Мионов, подбежав к окну, начал сбрасывать горшки цветов с подоконника в сад; он уже занес ногу на подоконник, когда железные руки схватили его сзади под мышки. Не видя, он знал, чьи это руки и, не сопротивляясь, подчинился их силе, молча позволил отвести себя на постель, опрокинуть на спину. Крепко закрыв глаза, он слушал шопот двух голосов и, различая во тьме серенькие крючки слов, следил как они, ловко сцепляясь, образуют непонятное. Вот фельдшер щечет:

— Авыда, вноза...

Эти слова летели сквозь него, как серые, шероховатые те-ни, тревожно волнуя;—он открыл глаза.

— Ты что же это, сирота, а? Захворал?

Зеленые лучи глаз столяра разбудили у Мионова смутное воспоминание: он видел где-то эти два луча, это острое ястребиное лицо, видел давно, еще будучи маленьким.

— Ну, что смотришь, — не узнал?

— Сам напоминает, — подумал Мионов и сказал:

— Кажется, я вас видел...

— То-то,

— Надо брому.

— Добрый, это—я,—соображал Мионов,—они дадут яду, я думаю...

Он отодвинулся к стене, сел, поджав ноги, опираясь о стену затылком, уставил глаза в угол, в потолок и вздрогнул, похолодев: на потолке отчетливо выступил зеленый квадрат картины «Смерть грешника», на краю картины, безмолвно смеясь, стоял остромордый дьявол с козлиной бородою. Все сразу стало понятно и остановилось. Вот почему столяр испортил голубой дом и так легко скользит по воздуху, вот почему он любит устраивать кутерьму и кавердак.

— «Кто твой хозяин?»—спрашивает он, торжествуя, потому что знает: Мионов, Константин не верит в обыкновенного бога, обыкновенных людей. Все ясно. Но—что же делать? Было очень страшно и жарко. Не разгибая ног, не разняв рук, обнявших колена, Мионов повалился на бок.

— Я спать хочу.

— А кушать?—спросил фельдшер.

— Спать буду.

— Это тоже полезно.

Они ушли. Столяр тихонько сказал:

— Как дитя...

Этим он мог обмануть фельдшера, но не Миронова, Мионов уже понял, догадался, что надо делать, но прежде надо спрятаться от столяра.

Полежав несколько минут, чутко прислушиваясь к тишине, он встал, накинул на голову простыню, укутался ею, взглянул в зеркало и, вздохнув, пожалел, что у него нет бороды, с бородой он был бы похож на воскресшего Лазаря. И тотчас трепетно отшатнулся от зеркала, определенно ощутив, как блестящая глубина потемнела и тянет его в себя, требует, чтоб он упал в нее. Он схватился рукою за косяк двери, тихою прошептал:

— Я—сейчас, господи, я иду...

Он заглянул в дверь, кухня была пуста, на столе, солнечно сияя, стоит самовар, седенькие ключья пара выются над ним, Миронов подошел и повернул край,—сделать это было необходимо. Но когда, дымясь и тая, на поднос потекла стеклянная струя воды, он испугался, замер, прислушиваясь: где-то на дворе, шамкала Павловна, и, точно удары молотка, звучали слова столяра.

— Сам? Ну?

Сам, это, конечно, бог, тот простой бог всех людей. Значит, проклятый столяр уже понял, что Миронов идет к нему, простому богу. А, может быть, он сказал

— Сомну!—угрожая старухе.

Задерживая дыхание, едва касаясь ногами пола, Миронов вышел в сени, поднялся по лестнице на чердак, вдохнул много жаркого, едкого запаха пыли, кошек, птичьего помета и приотворил за собою дверь, встал на колени лицом к голубому полукругую слухового окна и зашел, крестясь, кланяясь:

— Спаси, господи, люди твоя...

Но забыв дальнейшие слова гимна, он подумал, встал, подошел ближе к окну, громко сказал в небо:

— Я виноват, виноват, я верую, я прошу...

Но столяр был ближе бога, он услышал покаяние жертвы своей и закричал тревожно:

— На чердаке ищите!

Миронов бросился к двери и начал стаскивать к ней все, что было на чердаке,—поломанную мебель, какие-то ящики, корзины, доски, заваливая этим хламом дверь, он крестил его и боротал:

— Господи, помилуй!

А столяр уже вбежал на лестницу, торкался в дверь и все кричал:

— Константин,—брось дурить! Отопри! Что ты? Слушай, что скажу...

— Боишься?—громко спросил Миронов и засмеялся, чувствуя себя в безопасности, зная, что столяр не может преодолеть знамение креста.

— Константин! Али я тебе не приятель?

— Нет,—решительно крикнул Миронов и, схватив кирпич с дымохода, бросил им в дверь, удар пришелся по дну ящика и гулкий звук увеличил решимость Миронова сопротивляться столяру. У двери все ожило: силою сторожа, шевелились стулья, скрипели и падали ящики, Миронов смотрел и смеялся над бессилием врага.

Но вот, уступая напору его, досчатая дверь треснула, открылась, вещи распались, раздвинулись, упала и дверь, в раме ее явился во весь рост столяр,—это изумило Миронова, но все-таки он успел схватить еще кирпич и швырнуть им под медный клин бороды столяра,—тогда столяр крикнул, взмахнул голыми по локти руками и с треском, с громом покатился вниз, а Миронов, истступлево радуясь, прыгал, кричал, бросал вслед врагу своему все, что мог бросить, и хохотал, слыша тоже истступленный вой отчаяния:

— Пожарных надо! Водой! Погубит он себя...

Миронов оборвал свой смех, прислушиваясь. Там, внизу гудели голоса людей, взвизгивали мальчишки, и весь шум покрывал солидный бас, знакомый голос уважаемого Ивана Ивановича Розанова.

— Ты сам и свел его с ума.

— Да,—крикнул Миронов,—это он, он! Вы знаете, кто он? Видите? Ага!

Он задыхался от радости,—все поняли, кто таков столяр, он уже хотел сойти вниз, но его остановил тревожный крик столяра:

— Только не бей, Артамон, гляди, не бей, прошу!

Значит, Артамон тоже понял столяра и возмущился против него? Но возчик боком протиснулся в дверь, не глядя, растолкал пивками и ударами колен все, что лежало на пути его, и, вытянув руки, растопырив пальцы, свирепо открыв треугольный рот, шел на Миронова, рычал:

— Ну, чего ты, чего, а?

Было ясно, что столяр приказал возчику считать Миронова лошадыю.

— Я—не лошадь,—забормотал Миронов, пораженный хитростью столяра, отступая от рук, вытянутых, как оглобли, а возчик лез на него и гудел:

— Ну, не бойся, чего ты?

На голову Миронова опустилось твердое, горячее, он уже не мог двигаться дальше, возчик загнал его в жаркий, железный угол; тогда Миронов сделал последнюю попытку спастись от столяра: он опустился на четвереньки и пополз навстречу Артамону, но тот схватил его поперек тела, приподнял, опрокинул вниз головою и рывкнул:

— Поймал!

Миронов ударился головою о жесткую пыльную тьму, тело его как бы растаяло, разрушилось.

Потом тьма медленно расплылась, Миронов почувствовал, что лежит на чем-то мягком и качается, летит; ноги и руки у него отломлены, голова неестественно раздулась и стала так тяжела, что нет сил поднять ее; в ней кружились, стирая друг друга, светлые и черные пятна, чуть слышно звучала мелодия песенки отца:

— Семь су,
Семь су,
Что нам делать на семь су?

Над ним ослепительно сияло голубое небо, в мягком этом свете плыли белые, неясных форм фигуры, увлекая его; вот две из них склонились над ним, умело и быстро приделали ему повые, очень слабые руки и ноги, вычистили голову, сделав ее легкой, точно пустой, и, качая, понесли его выше, в голубое. Миронов понял, что бог услышал его и похитил с земли, послав за ним ангелов. Так это и было: вот он, бог, сам явился перед ним, белый высокий, в золотых очках, он ответил на радостный крик Миронова безмолвным, но ласковым кивком головы и проплыл мимо, опавнув лицо его прохладным веянием и запахом цветов.

Восхищение Миронова было тем сильнее, что он видел не простого старого бога обыкновенных людей, но настоящего мудрого создателя бесконечной певучей тишины. В его мире все было тихо ласково; необыкновенно прозрачная, почти невидимая вода омыла Миронова и, когда создатель голубой тишины снова явился перед ним, Миронов уже знал, что с этим богом необходимо говорить на языке Парижа.

— Je vous remercie, mon Dieu — сказал он, — je vous remercie, Dieu vous ..

У него не нашлось больше слов, и он продолжал по-русски:

— Вы извините, я еще плохо знаю язык, мне трудно. Мне было страшно трудно! Тот старый, престои бог не имел силы помочь мне. Я не люблю его, я хотел к вам, давно уже...

— А—как давно?—спросил создатель голубой тишины, отчески ласково глядя в глаза его поверх очков?

— Toujours—всегда, — сказал Миронов и спросил:—Я, ведь, не опоздал?

— О, пет!—улыбнулся создатель.—Ко мне—вообще—не торопятся.

Миронову послышалось, что это сказано с грустью, с упреком.

— Oui,—согласился он, чувствуя, что голубые мысли и слова меркнут в голове его, тревога покалывает сердце, тревога, что не успеет он сказать все, что нужно.—Да, да,—они там не торопятся; они все женятся на отличных девицах, на Фимках, на Серафимках, чорт их возьми—pardon. Они, там, знаете, как собаки,—ужасное бесстыдство! Потом—рожают, едят моченые яблоки и жадничают, жадничают невероятно! А я Вы это знаете—ничего не хочу. . . бог—тот, обыкновенный, их бог не обращает на них никакого внимания и всем командует столляр, Вы, конечно, знаете! Вы знаете—я первый понял столяра, он—дьявол пустяков, кутерьмы, дьявол кавардака. Он выдумал свадьбы, моченые яблоки, пьянство, пироги с рыбой, игру в карты и все, чего я не люблю, не хочу, не хочу. . .

Вспомнив о проклятом столяре, Миронов рассердился, начал кричать, но создатель голубой тишины взял его за руку и, перелистывая другою рукою книгу законов своих, спросил ласково:

— А голова—часто болит?

— Голова—la tête,—вспомнил Миронов и, подняв руки, пощупал голову свою,—она была гладкая, холодная, как глобус.

— „Предполагается, что это висит в воздухе“, вспомнил он, сжимая голову ладонями, пробормотал эти слова вслух и жалобно зашел:

— Чижик, чижик,—где ты был?

Это был первый и последний раз, что Миронов, душевно больной, лежал в психиатрической больнице. Самое тяжелое переживание Миронова в больнице была встреча со столяром, который пришел в больницу проведать его. При виде столяра Миронов бросился из окна и сломал себе руку. Несколько месяцев спустя, Миронов выздоровел и, оставив больницу, он сумел хорошо приспособиться к новым условиям жизни. Он вступил в тесные отношения к Ивану Ивановичу Розанову, женился на его дочери и при помощи тестя он в судебном

порядке получил все свое имущество, которым во время его болезни овладел столяр. После смерти своей первой жены, он женился вторично и жил спокойно и счастливо, ведя успешно переплетное свое заведение.

Случай Миронова, как мы его здесь представили читателю, принадлежит, вне всякого сомнения, к группе эпизодических сумеречных состояний, а именно к галлюцинаторно-психомоторным сумеречным состояниям. Принадлежность Миронова к эпизодикам можно было бы заключить из одного того, что сумеречные его состояния, следовавшие в течение короткого времени друг за другом, представляют собой эпизод его жизни и не имели никакого влияния на дальнейшее его развитие. Когда исчезла та тираническая личность, которая, появившись эпизодически на горизонте расцветающей его жизни, вызвала у него душевную болезнь, исчез и эпизодически проявившийся психоз.

Было бы, однако, ошибочно допустить мысль, что столяр Каллистрат является единственно ответственной причиной психоза Миронова. Наряду с этой, я бы сказал, эпизодической причиной, приходится учитывать психогенетику и психоконституцию Миронова, как основные моменты, благоприятствующие возникновению и развитию у него психоза. Исследованием этих моментов предстоит нам здесь позаняться.

Миронов—наследственно тяжело отягченная личность. Отец его был физически слабый, лишенный воли чужак; мать тяжелая алкоголичка, сварливая и грубая женщина. Первые впечатления подрастающего Миронова были весьма удручающего характера. Мальчик Костя (Миронов), плененный талантом отца делать оригинальные игрушки, полюбил его глубоко и нежно и тяжело страдал, видя день за днем, как пьяная его мать безжалостно ругала и обижала отца. Благодаря этому развились у склонного к уединению мальчика тяжелые настроения, которые еще более усилили природную его склонность к уединению. Мать Миронова не щадила и своего сына Костю, хотя этот последний едва ли давал повод злему и неспокойному ее языку обижать его. Миронова - мать титулировала своего сына не иначе как „дурак“ и делала ему при этом постоянно упрек, что он «удался весь в отца». Когда Константин Миронов, после смерти отца, находившись под влиянием голубого своего комплекса, влюбился в одетую в голубом Лизу Розанову, попросил мать, чтобы она ему сосватала Лизу, эта последняя возразила: «Дурак, какой ты муж? Муж должен

быть—вот!» «Крепко сжав опухшие пальцы в большой красный кулак, она потрясла им в воздухе».

Так незаметно развивала Миронова в своем сыне чувство своей недостаточности, которое и без того не было чуждо молодому Миронову, страдавшему от того, что лицо и особенно зубы были у него некрасивые. Когда Миронова - мать умерла внезапно, четыре года спустя после смерти мужа, и Мионов остался круглым сиротой, он по своей психоконституции представлял следующую картину: это был молодой человек, по существу тихий, необщительный (аутист), застенчивый, боязливый, слабый, мечтательный, склонный к своеобразным изменениям настроения с многими патогенными комплексами, среди которых комплекс недостаточности и голубой комплекс особенно пагубно действовали на нормальный ход развития Мионова и влияли на весь образ его действий.

Почва для развития душевной болезни была дана в его психоконституции, не доставало вызывающего момента. Тут появился столяр Каллистрат.

Как столяр вогнал Мионова в „сумасшествие“, мы имели случай видеть. Слабовольный Мионов видел в Каллистрате человека с более сильной волей, человека, умеющего навязать свою волю другому. Мионов питал к столяру сильную антипатию, видел в нем личного своего врага и ужасно боялся его, так как он чувствовал, что он беззащитная игрушка в руках столяра, сделавшегося чуть ли не полным хозяином в его доме. Аффект страха—господствующий у Мионова аффект; этот аффект вызвал сумеречные состояния у Мионова, и все психомоторные явления во время сумеречных состояний имеют в страхе пускающую их в ход пружину. Немногочисленные галлюцинации и развившийся позже у Мионова делирий имеют свое начало в его комплексах и детских воспоминаниях, зеленый блеск в глазах Каллистрата вызывает у Мионова ассоциацию картины: «Смерть грешника», которую Мионовотец подарил матери в день ее именин, из-за чего произошел большой скандал, т. к. именинница из-за этого подарка расстроилась и долго голосила. На картине был изображен, между прочим, зеленый дьявол. И вот, благодаря зеленому блеску своих глаз, столяр в делирии Мионова превращается в самого дьявола, а желание Мионова спастись от когтей дьявола Каллистрата исполняется в делирии в том смысле, что Мионов чувствует себя пребывающим на небе, разговаривает с самим Богом, и несут его ангелы на своих плечах. Каждый раз, однако, вспоминая в делирии Каллистрата таковым, каков он есть в действительности, Мионов впадает в сильный аффект

гнева, и дело доходит до тяжелых психомоторных явлений. Страх и отвращение к столюру достигают у Миронова такой сильной степени, что он при виде столюра, явившегося в больницу проведать его, бросается из окна, при чем сломал себе руку.

Развитие делирий у эпизодиков по *Клейсту* весьма обычное явление. Мы имеем, таким образом, в лице Миронова типичного эпизодика, сумеречные состояния которого носят характер галлюцинаторно-психомоторных сумеречных состояний. Случай Миронова в изображении Горького обладает для психиатра весьма высоким интересом, и, так как я думаю, что этот случай способен фиксировать внимание психиатров на мало популярных эпизодических сумеречных состояниях, я тем более счел своим долгом познакомить широкие круги психиатров с этим, я бы сказал, классическим случаем эпизодических сумеречных состояний.

IV. Пиромания.

I. Как понял Крепелин проблему пиромании.

Относительно пиромании мы читаем в «Введении в психиатрическую клинику» *Крепелина* (в переводе проф. *Гиляровского*, Госиздат, 1923 г.) следующие два поясняющие предложения: «Повидимому, более всего из неопределенного стремления к свободе («тоска по родине») возникает наблюдающееся в особенности у молодых служанок навязчивое влечение к поджогам («пиромания»), именно из желания избежать подневольного положения прислуги путем уничтожения чужого очага. Иногда при этом может играть роль стихийное чувство радости при виде пылающего огня».

Всякий раз, читая эту краткую заметку *Крепелина* о пиромании, я клал книгу на стол с чувством грызущей неудовлетворенности. Я чувствовал, что *Крепелин* близок к истине, но истина далека от него. Особенно странным показалось мне, что *Крепелин* из должно быть многих этиологических моментов пиромании выдвигает на первый план одно только «неопределенное стремление к свободе» «молодых служанок», как основной этиологический момент пиромании. Помимо того, что этот упомянутый *Крепелиным* этиологический момент пиромании очень сомнителен, а потому должен считаться нехарактерным и далеко не самым существенным, нет основания думать, что, «молодые служанки» являются типичными представителями пиромании. В течение наших дальнейших исследований о пи-

романии мы будем иметь случай познакомиться с более типичными пироманьяками, чем «молодые служанки».

Однако постараемся сначала точно ограничить понятие пиромании и открыть те корни, которые питают и возвращают ту весьма странную на первый взгляд страсть, которую мы называем пироманиею.

Под пироманией следует понимать не одну только страсть к поджогам, но и влечение играть, забавляться огнем, влечение, которое у некоторых предрасположенных индивидов может легко перейти в страсть к поджогам. Влечение к «игре с огнем» или *пассивная пиромания* (в отличие от страсти к поджогам — *активная пиромания*) до того распространенное среди людей явление, что точное знакомство с ним необходимо хотя бы для того, чтобы понять, как человек может (иногда легко) дойти до непонятной на первый взгляд активной пиромании. Изучая пассивную пироманию, мы тем самым решаем до известной степени вопрос *развития активной пиромании*, т.-е. приближаемся к пониманию одной из наименее понятных человеческих страстей. Начнем, поэтому, главой:

2. Пассивная пиромания.

Пассивная пиромания, как мы уже сказали, самое распространенное среди людей явление и наблюдается даже у грудных младенцев. Младенец тянется, как говорят, к огню, и пока он не потерпел обжога, будет постоянно тянуться к огню, желая поймать его. Предостережение няни: „жижа!“ редко действует на ребенка, тянущегося всем своим существом к огню и при первом же недосмотре няни он хватается пламя и обжигается. После такого обжога предостережения и надсмотр няни почти что лишни, ибо ребенок сам научился, что огонь ему не тетка и что не следует хватать его. Однако, это не всегда так. Мне известен случай, где шестилетний крестьянский мальчик, в намерении испечь картошку, хватнул с костра горящую головешку, сунул ее под мышку и крепко прижав ее плечом к боку побегал к своей картошке. Скоро наш бедный мальчик превратился в «блуждающий огонек», ибо на нем загорелась одежда, и, если не добрые люди, он скоро превратился бы в «столб огня». Все же он успел обжечь себе плечо и левый бок, начиная с грудного соска до тазовой кости, после этого лежал много месяцев больно, а когда он вылечился, кожа в этой области превратилась в сплошной рубец.

Эти и подобные факты не говорят, конечно, с абсолютной верностью за пассивную пироманию младенцев и детей. Мла-

денец тянется не только к огню, но ко всем предметам, находящимся в его поле зрения, особенно к ярким, блестящим предметам. А шестилетний наш мальчик, может быть, просто не сообразил, что от горящей головешки у него загорится одежда, почему он не побоялся «играть с огнем». Есть, однако, некоторые данные, которые все же позволяют видеть в описанных нами явлениях проявление пассивной пиромании. Вот, напр., как говорит один из героев *Максима Горького*, фельдшер Сама Винокуров, об «идольском пристрастии» людей к огню:

«—У людей, как я заметил, есть эдакое идольское пристрастие к огню. Вы тоже знаете, что высокаторжественные царские дни, именины, свадьбы и другие мотивчики человеческих праздников, исключая похорон, сопровождаются иллюминациями, игрою с огнем. Также и богослужения, но тут уже и похороны надо присоединить. Мальчишки даже и летом любят жечь костры, за что следует мальчишек без пощады пороть, во избежание губительных лесных пожаров. В общем скажу, что пожар—зрелище, любезное каждому, и все люди стремглав летят на огонь, подобно бабочкам ночным. Бедному приятно, когда богатый горит, и у всякого зрячего человека есть свое тяготение к огню, это известно.

Вот это-то общее всем людям «тяготение к огню» мы и обозначаем научным термином *пассивная пиромания*. Она свойственна младенцам, детям, юношам, старикам и вообще всем людям, всех возрастов, правда, одним в большей, другим в меньшей степени. Если и поверить, что шестилетний Чикашов не сообразил, что от дымящейся головешки плотно ущемленной под мышкой, загорится его одежда и он обожжётся, то все же трудно думать, что он решился бы на этот рискованный шаг, если не ожидающая радость развести самостоятельно огонь и любоваться его красотой. До чего же может доходить пристрастие людей к огню, так приятно щекочущему первы зрелищу, оставаясь при этом в границах пассивной пиромании, можно судить по следующему описанию пожара *Максима Горького*:

«Темной ночью февраля вышел я на Ошарскую площадь—вижу: из слухового окна какого-то дома высунулся пышный, лисий хвост огня и машет в воздухе, рябом от множества крупных снежинок,—они падали на землю нехотя, медленно.

Возбуждающе красив был огонь. Как будто в окно, под крышу дома, прыгнул из тепловатой, сырой тьмы красный зверь, изогнулся и грызет что-то; был слышен сухой треск, так трещат на зубах птичьи кости,

Смотрел я на эти лисьи хитрости огня и думал: надо стучать в окна домов, будить людей, кричать—пожар. Но кричать и двигаться не хотелось; я стоял, очарованно наблюдая быстрый рост пламени, а на коньке крыши уже мелькали пегушинные перья, верхние ветки деревьев сада золотисто порозовели и на площади стало светлее.

— Надо будить людей,—внушал я сам себе и молча смотрел, до поры, пока не заметил фигуру человека посреди площади; человек прижался к велепой, чугунной колонне фонтана и, зрительно, был почти неотделим от нее. Я подошел к нему. Это—Лукич, ночной сторож, кроткий старик.

— Ты что же? Свисти, буди людей!

Не отрывая глаз от огня, он сонным или пьяным голосом ответил:

— Сейчас...

Я знал, что он не пьет, но видел в глазах его пьяную улыбку удовольствия и меня не удивило, когда он, вполголоса, захлебываясь словами, начал бормотать:

— Ты гляди, как хитрит, а? Ведь, что делает, гляди-ко ты! Так и жрет, так и жрет, ну—сила! А, малое время спустя назад, маленький огонечек высунулся около трубы, с долото, не больше, и начал долбить, и пошел козырять. До чего это интересно, пожар, ах, господи...

Он сунул в рот себе свисток и, качаясь на ногах, огласил пустынную площадь режущим уши свистом, замахал кистью руки,—торопливо затрещала трепотка. Но глаза неотрывно смотрели вверх,—там, над крышей кружились красные и белые снежинки, скоплялся шапкой черный, тяжелый дым.

Лукич ворчал, усмехаясь в бороду:

— Ишь ты, разбойник... Ну, давай будить людей... Давай что ли...

Мы бегали по площади, стучали в окна и двери, завывая:

— Пожаа-ар!

Я чувствовал, что действую энергично, однако—неискренно, а Лукич, постучав в окно, отбегал на середину площади и, задрвав голову вверх, кричал с явной радостью:

— Пожа-ар! Э-ей!

...Велико очарование волшебной силы огня. Я много наблюдал как самозабвенно поддаются люди красоте злой игры этой силы и сам не свободен от влияния ее. Разжечь костер—для меня всегда наслаждение, и я готов целые сутки так же ненасытно смотреть на огонь, как могу сутки, не уставая, слушать музыку.

Молодой Горький и старик Лукич, по своему положению в обществе, по своим занятиям, вкусам и увлечениям представляющие два противоположных полюса, сходятся удивительнейшим образом в одном пункте—в идольском пристрастии к огню! У Горького это пристрастие к огню принимает характер „активной пиромании“, правда, не в чистом психиатрическом смысле, т. к. дело идет не о поджогах, а об разведении костров, сопровождающемся большим наслаждением. Горький же наблюдал, как много людей самоабвенно поддается красоте злой игры огня, и сравнивает свои переживания при виде огня с таковыми при слушании музыки. Все это указывает на то, что пассивная пиромания имеет свои глубокие корни чуть ли не в самой природе человека и поклонение древнейших наших предков огню, как божественной силе, есть один из первоисточников, все больше и больше укоренившихся в человеке, благоговения и удивления силе и красоте огня. Древний греческий миф о Прометее, укравшем у богов огонь и даровавшем его людям, за что Прометей был прикован к скале, где хищные птицы выклевали ему глаза, свидетельствует также о том, насколько люди верили в божественные силы и красоту огня, и как они готовы были жертвовать всеми другими благами жизни, лишь бы раздобыть его. Понятно, поэтому, что „идольское пристрастие к огню“ до того глубоко вкоренилось в душу первобытного и древнего культурного человека, что оно у большинства людей сделалось второй природой, и мы вряд ли ошибемся, если будем толковать влечение младенцев к огню и радостные их возгласы при виде и игре огня, как первые проблески пробуждающейся атавистической пиромании (пассивной). Мы теперь поймем, почему пассивная пиромания так распространена среди людей и почему она отличается такой силой страсти. Люди страстно боролись с богами за огонь, люди видели всю силу жизни в огне; а кто же может отрицать красоту игры огня и стихийную силу его? И кто же после этого может обижаться на современного человека, даже высшей культуры, если он оказывается „идольски пристрастным к огню“? Не вполне ли это естественное, а потому и очень понятное явление?—Кажется, это действительно так.

3. Активная пиромания.

От пассивной пиромании к активной дорога не далека. Активная пиромания развивается, безусловно, на почве пассивной, и первые зачатки активной пиромании надо усматривать в пристрастии к разведению костров, наблюдающемуся по свиде-

тельству Горького довольно часто, особенно у детей. Если разведение костров наполовину „невинная забава“, наслаждение этой забавой допустимо, то все же во избежание развития тяжело преступной пиромании, заключающейся в страсти к поджогам, следовало бы всячески препятствовать ненужному разведению костров, разведению костров ради наслаждения красотой огня и его игры. Это тем паче, что не может существовать сомнения в том, что преступная активная пиромания совершается по тем же самым мотивам, что и сладострастное разведение костров, и это последнее, при беспрепятственном частом злоупотреблении им, ведет предрасположенных к тому лиц к поджогам. Это можно себе так объяснить, что нервная система пироманьяка от частого раздражения начала тупеть и разведение костров не дает больше соответствующего наслаждения и не вызывает сладострастных чувств. Приходится прибегнуть к более сильным раздражителям, как пожары—отсюда страсть к поджогам.

Что представляет собой страсть к поджогам, можно лучше всего судить по следующему клиническому случаю, художественно описанному Горьким и включенному им в серию рассказов и заметок: „Пожары“¹⁾.

...Мой патрон А. И. Ланин, войдя в кабинет, сказал раздраженно и устало:

— Был в тюрьме, у подзащитного, оказался такой милый, тихий парень, но—обвиняется в четырех поджогах. Обвинительный акт составлен убедительно показания свидетелей тяжелые. А он, должно быть, запуган, очумел, молчит. Черт знает, как я буду защищать его...

Через некоторое время, сидя за столом и работая, патрон, взглянув в потолок, сердито повторил:

— Наверное парень не виновен...

А. И. Ланин был опытный и счастливый защитник, он красиво и убедительно говорил на суде; раньше я не замечал, чтоб судьба подзащитного особенно волновала его.

На другой день я пошел в суд. Дело о поджоге слушалось первым. На скамье подсудимых сидел парень лет двадцати, в тяжелой шапке рыжеватых, кудрявых волос. Очень белое «тюремное» лицо, широко раскрытые серо-голубые глаза, золотистые, чуть намеченные усики и под ними ярко-красные губы. Серый халат обидно искажает парня, его хочется видеть в малиновой рубашке, плисовых шароварах, в сапогах «с набором»,

¹⁾ Горький, М. Собрание сочинений, том XVII. «Пожары». Стр. 13-40. Госиздат. Ленинград. 1926.

с гармоникой или балалайкой в руках. Когда председательствующий В. В. Бер или обвинитель обращаются к подсудимому с вопросами, он быстро вскакивает и, запахивая халат, отвечает очень тихо.

— Громче,—говорят ему.

Он откашливается, но говорит все так же тихо. Это сердит судей, сердит присяжных. В зале скучно и душно, мотылек бьется о стекло окна, и этот мягкий звук усиливает скуку.

— Итак, вы не сознаетесь?

Перед судьями длинный, одноглазый старик, лицо у него железное, от ушей с подбородка висят прямые седые волосы. На вопрос, чем он занимается, старик глухо могильно отвечает:

— Христа ради живу...

Потом, склонив голову на бок, он гудит:

— Шел я из города, сильно запоздавши, солнышко давно село, и подхожу к ихой деревне, и вот светится маленько в темноте-то, да вдруг—как полыхнет...

Обвиняемый сидит, крепко держась за край скамьи, и приоткрыв рот, внимательно слушает. Взгляд его странен, светлые глаза сосредоточенно смотрят не в лицо свидетеля, а в пол, под ноги его.

— Я—бежать, а он чешет;..

— Кто?

— Огонь, пожар...

Обвиняемый качнулся вперед и спросил неожиданно громко, с явным оттенком презрения, насмешки:

— Это когда же было?

— Сам знаешь, когда,—ответил нищий, не взглянув на него, а парень встал, строго нахмурив брови и говоря суду:

— Врет он; с дороги из города не видать того места, где загорелось...

В него вцепился обвинитель, остроносенький товарищ прокурора; взвизгивая он стал кусать парня вопросами, но тот снова отвечал тихо, неохотно, и это еще более восстановило суд против него. Так же неясно, нехотя обвиняемый отвечал и на вопросы защитника.

— Продолжайте, свидетель,—предложил Бер.

— Бегу, а он прыг через плетень, прямо на меня.

Парень усмехнулся и что-то промычал, двигая по полу ногами в тяжелых „котах“ арестанта.

Нищего сменил толстый мужик; быстро и складно, веселым теворком он заговорил:

— Давно у нас догадка была на него, хоша он и тихий, и некурящий; ну, заметили мы, однако: любит баловать с огнем...

— Еду я из ночного, облачно было, вдруг у шабра на гумне, ка-ак фукнет, вроде бы из трубы выкинуло...

Обвиняемый, толкнув локтем солдата тюремной команды, вскочил на ноги и отчетливо, с негодованием почти закричал:

— Да—врешь ты! Из трубы,—эх! Что ты знаешь? Чать, не сразу бывает—фукнуло, полыхнуло! Слепые. Сначала—червячки, красные червячки поползут во все стороны по соломе, а потом—взбухнут они, собьются, скатятся комьями, вот тогда уж и полыхнет огонь. А у вас—сразу...

Лицо его покраснело, он встряхивал головою и сверкал глазами, очень возбужденный, говоря поучительно и с большой силою. Судьи, присяжные, публика—все замерли, слушая, А. И. Ланин, привстав, обернулся к подзащитному и удивленно смотрел на него. А он, разводя руки кругами и все шире, все выше поднимая руки, увлеченно рассказывал:

— Да—вот так, да—вот так и начнет забирать, колыхается, как холст по ветру. В это время у него повадка птичья, тут уж его не схватишь, нет! А сначала червяки ползут, от них и родится огонь, от этих красных червячков, от них—вся беда! Их и надо уследить. Вот их и надо переловить, да—в колодцы. Переловить их можно! Надо поделать сита, железные, частые, как для пшеничной муки; ситами и ловить, да—в болото, в реки, в колодцы! Вот и не будет пожаров. Сказано ведь: упустишь огонь—не потушишь. А—они, как слепые все равно, врут...

Ловец огня тяжело шлепнулся на скамью, потряс головою, приводя в порядок растрепавшиеся кудри, потом высморкался и шумно вздохнул. Судебное следствие покатилося, как в яму. Подсудимый сознался в пяти поджогах, но озабоченно объяснил:

— Быстры они больно, червячки-то, не устережешь их...

В. В. Бер скучно сказал обычную фразу:

— В виду полного сознания подсудимого...

Защитник возбудил ходатайство о психиатрической экспертизе, судьи пошептались и отказали ему. Обвинитель произнес краткую речь, Ланин говорил много, красноречиво, присяжные ушли и через семь минут решили:

— Виновен...

Задумчиво выслушав суровый приговор, осужденный, на предложение А. И. Ланина обжаловать решение суда, сказал равнодушно, как будто все это не касалось его:

— Ну, что-ж, пожалуйста, можно...

Солдат, вкладывая саблю в ножны, что-то шепнул парню, ларень резким движением запахнул халат, ответил громко:

— Я-ж говорю: как слепые...

Вот какова активная пиромания, страсть к поджогам. Ее родство с пассивной пироманией более чем очевидно. Та же «поэзия огня», то же увлечение волшебной силой огня, то же наслаждение огнем, те же сладострастные чувства и переживания при виде очаровательной игры огня,—и все это гонит стихийной силой пироманьяка, ищущего наивысшего удовлетворения «идольского своего пристрастия к огню», на путь преступления, ибо страсть к огню, как всякая другая страсть, ненасытна и ей нужны временами целые моря пламени, чтобы уметь на время успокоиться и потерять жало своей стихийной импульсивности. Среди исторических лиц, страдавших пироманией, самым тяжелым пироманьяком был римский император *Нерон*, который отдал приказ поджечь с разных концов Рим и любовался потом с крыши своего дворца бушующим морем пламени, носившимся огромными волнами по безбрежному Риму.

Судя по этим фактам, и активная (преступная) пиромания далеко нередкое явление. И действительно, *Горький* рассказывает еще об одном пироманьяке, давая почувствовать, какая сильная страсть пиромания и как неизбежно должны ею страдать многие люди. Для полной характеристики пиромании, как распространенной человеческой страсти, знакомство с нижеследующим отрывком «Пожаров» *Горького* просто необходимо.

В 93-ем или 4-ом году за Волгой, против Нижнего-Новгорода, горели леса,—огонь охватил сотни десятин.

Непобедимо влекло вперед, ближе и ближе к огню. Староста охал и тоже незаметно спускался с холма, помахая палкой, восклицая;

— А, господи, чудеса твои... Ах, ты, господи!

Гул в лесу вдруг замолк, его сменил тревожный волчий вой:

—У—У—У...

— Побежали,—сказал староста,—прислушиваясь, хмурясь. И—точно: слева от нас, далеко, в деревьях, замелькали фигуры людей; их словно выбрасывало из леса, так быстро выскакивали они. А справа на болоте явилось два солдата, в сапогах, серых от пепла, в рубахах без поясов; они вели коротконового мужика, держа его под руки, как пьяного. Мужик фыркал и плевался, кропя встрепанную бороду и разорванную рубаху свою брызгами крови; нос и губы у него были разбиты, а неподвижные, точно слепые глаза улыбались жалкой ребячьей улыбкой.

— Куда это вы его?—строго спросил староста.

Солдат татарин, добродушно ухмыляясь, ответил:

— Поджог делал, огонь тащил место на местам!

Его товарищ сердито добавил:

— Поджигал, мы видели! Раздувал.

— Ну-у, видели, как-жа-а! Закуривал я...

— Нам за вами приказано глядеть, а он зажжет ветку и подкладывает...

— Ну-у, ка-ак-жа-а! Зажет! К сапогу пристала...

Солдат ударил мужика по шее.

— Нет, погоди, ты не бей, внушительно сказал староста.

— Этот—наш мужик. Этот мужик, я тебе скажу,—не в разуме..

— Сади его на цепь...

Сердито, но неохотно заспорили, а по болоту кружились огни, встречая мужиков, бежавших из лесу. Человек семь, тяжело подпрыгивая, направлялись к нам, вот они подбежали и свалились на песок у холма, капляя, хрипя, ругаясь.

— Чуть не захватило...

— Птицы сколь погибло...

При виде злых, измученных мужиков, солдаты стали миролюбивее и, оставив избитого ими, ушли сквозь теплый дым,—он становился синее и все более едким. По болоту хлопотливо бегали огоньки, окружая стволы деревьев, блекла и скручивалась желтая листва ольхи и берез, шевелились лишай на стволах ессен, превращаясь во что-то живое, похожее на пчел.

На холме стало жарко, трудно дышать, мужики, передохнув, один за другим уходили в чащу выше на холм; староста угрюмо журил избитого:

— Завсегда у тебя скандал, Микита. Ни пожар, ни крестный ход, ничего тебе не скушно...

Мужик молчал, ковыряя черным пальцем передние зубы.

— И верно, что на цепь тебя сажать надобно...

Вынув палец изо рта, мужик крепко вытер его подолом рубахи. Он ворочал головою, неподвижные глаза его шарили по болоту, следя за струйками дыма. Все болото курилось, всюду из черной земли возникали голубые и сизые кудри дыма. И везде, вслед за ними, из торфа острым бугорком выскакивал огонь, качался кланялся, исчезал, на месте его являлось красновато-золотое пятно и во все стороны от него тянулись тонкие красные нити, сами собою связываясь в узлы новых огней.

Вдруг у подножия холма вспыхнул неопалимою кушиною куст можжевельника, староста, взмахнув палкой, попятился.

— Ишь ты, как... Уходить надо отсюда...

И тяжело шагая по песку между сосен, он ворчал:

— Хожу, вот, а чего хожу? Что может сделать человек против такого огня? А своя работа стоит! Может не менее тыщи людей время теряют эдак-то, вот.

Спустились по зарослям кустарника в ложину, на дне ее тускло блестел ручей, дым здесь осел в гуще и даже ручей казался густою струею дыма. Поднялась из травы куропатка и камнем упала в кусты, быстро прополз маленький ужишко, а за ним к ручью скатился комком еж.

— Догонит,—сказал Никита и быком, наклоня голову, полес сквозь кусты.

— Ты, гляди, не дури,—крикнул ему староста и с бока осторожно взглянув на меня, заговорил:

— Не в разуме маленько он. Троекратно горел, ну и того... Солдаты, конечно, хвастают, поджогами он не занимается, ну все-таки, разом свихнулся, к озорству тянет...

Дым выедал глаза, они заливались слезами, крепко щекотало в носу и было трудно дышать. Староста громко чихнул, озабоченно оглянулся, помахивая палкой.

— Скажи на милость, куда его метнуло.

Впереди нас по можжевельнику в ложину воробьиными прыжками спускались огоньки, точно стая красногрудых снегирей, в траве бойко мелькали остренькие крылья, кивали и прятались безмолвно птичьи головки.

— Микита!—крикнул и прислушался. Был слышен сухой хруст, предостерегающее шипение и тихонький свист. Где-то очень далеко шумели люди.

— Пес,—сказал староста,— Не сторел бы. Ему огонь как пьянице вино. Где пожар—он первый бежит, сломя голову. Прибегает, вытаращит глаза и стоит как, все равно, гвоздями пришитый к земле. Ни помочь людям, ничего: стоит и стоит, ухмыляется. Бивали его за это. Прогонят с одного места, он на другом приклеится. „Полонен огнем“.

Вот в двух образных крепких словах вся сущность пиромании: „полонен огнем“. Пленение огнем до самозабвения, до потери сознания бытия, опьянение огнем, как вином—таковы характерные черты пиромании, как страсти. Эти черты делают нам пироманию весьма понятной, и для нас вопрос—был ли Микита, „троекратно горевший“, пассивным или активным пироманьяком, не существует. По всем данным, он был активный пироманьяк, хотя староста старается склонить нас в

другую сторону. Можно, конечно, со старостой симпатизировать Миките, ибо мы имеем дело с человеком, хотя и малоумным, но „вдохновленным страстью“. Симпатии эти не могут нас однако, до того ослепить, чтобы не чувствовать, что Микита, охваченный страстью к огню, способен на поджог и вероятно такие совершал...

4. Этиология активной пиромании.

Происхождение пассивной пиромании нам более или менее ясно. В главе пассивной пиромании мы выяснили, что помимо того, что игра огня пленительна и может действовать на эстетически чувствующего человека, как всякое другое очаровательное зрелище, древнейший и первобытный человек обожествлял огонь, преклонялся перед его стихийной силой, благоговел перед ним, переполнялся перед ним чувством удивления, страха, благодарности, восхищались его великолепием и красотой. Идололокновение первобытного человека огню должно было передаться как атавистический инстинкт и современному нам человеку, и действительно, мы видели, что «идольское пристрастие к огню» в виде пассивной пиромании довольно распространенное явление среди людей нашего времени. Остается нам теперь выяснить, почему среди большего количества пассивных пироманьяков встречается известный процент активных (преступных) пироманьяков. Выяснить этот вопрос особенно важно, ибо если мы можем примириться с пассивной пироманией, как с таковой не причиняющей обществу никакого вреда, то активная пиромания, угрожая спокойствию и благосостоянию общества, требует от нас активного вмешательства, дабы пресечь в корне это, способное разрастись в великое для людей несчастье, зло. Преследовать же успешно эту цель можно будет лишь тогда, если мы откроем причину развития активной пиромании, ее этиологические моменты.

Мнение *Крепелина*, что активная пиромания может взять свое начало „из неопределенного стремления к свободе“ можно обозначить ошибочным. Активная пиромания, как мы уже сказали, развивается из пассивной пиромании, эта же последняя коренится в атавистическом инстинкте или, может быть лучше, в атавистическом тяготении к огню. Остается разрешить вопрос: почему не все пироманьяки делают активно преступными пироманьяками? Что надо для того, чтобы пассивный пироманьяк сделался активным пироманьяком?

Зная, что мы при пиромании имеем дело с инстинктом, который, как всякий инстинкт, имеет большой заряд энергии и

то и дело стремится превратить потенциальную свою энергию в кинетическую, мы не станем искать другой причины активной пиромании, если не в ослаблении тех тормозящих сил, которые препятствуют нашим инстинктам принять преступно-агрессивную форму. Психически зд равый человек обладает в достаточной степени силой воли, чтобы во-время дать отпор тем инстинктивным похотям и желаниям, выполнение которых идет в разрез с общепринятыми понятиями морали общественной безопасности и правосудия. Люди же, у которых психическое равновесие нарушено, люди слабовольные легко поддаются возбуждающему действию своих инстинктов, а потому легко преступают границы допустимого и вступают в конфликт с окружающей средой. Этим объясняется, что среди душевно-больных людей, среди людей с нарушенным психическим равновесием, встречается больший процент преступников, чем среди психически здоровых людей. Этим объясняется и то обстоятельство, что пиромания, поскольку она встречается у людей психически нормальных, не преступает границ эстетического наслаждения огнем, правда иногда даже тогда, когда этот огонь является бедствием для других людей. Когда же пиромания развивается у душевно-больного человека, у человека неспособного укрощать свои инстинкты, тогда мы видим, что пироманьяк под давлением пироманического инстинкта, требующего немедленного удовлетворения, решает на преступление и при долгом отсутствии пожаров совершает поджог, чтобы опьянеть огнем и разрешить таким образом то мучительное нервное напряжение, которое получается при невозможности дать инстинкту „выжиться“.

И в самом деле, теория и практика доказывают, что все активные пироманьяки—душевно-больные люди, люди со слабым развитием интеллектуальных своих способностей при сильном развитии чувствительной сферы и извращенности инстинктов. Эти люди уже по одному тому неспособны бороться со своими инстинктами, что они не в состоянии осмыслить свои поступки, предвидеть их последствия и беспрепятственно дают волю своим инстинктам. Таков Микита, таков подзащитный Ланина, таковы все пироманьяки вообще. Это—люди слабоумные (Микита), люди душевно-больные (подзащитный Ланина), люди с извращенными инстинктами (Нерон).

В редких случаях пиромания может иметь своей причиной не вышеуказанные психоконституциональные (эндогенные) моменты, а какие-нибудь более случайные экзогенные моменты. Особенно интересен в этом отношении случай пироманьяка Капитона Сысоева, сообщенный М. Горьким в его «Пожарах».

В 96 г. в Нижнем-Новгороде горел „Дом трудолюбия“; в нижнем этаже его вспыхнула пакля, огонь быстро накалил железную лестницу во второй этаж и застиг там старух-работниц. Все, кажется более двадцати, были задушены смолистым дымом и сгорели.

Я застал уже конец пожара; провалилась крыша, в огромном кирпичном ящике с железными решетками на окнах буйно кипел и фыркал огонь, извергая густейший, жирный дым. Сквозь раскаленное железо решеток на окнах, дым вырывался какими-то особенно тяжелыми черными клубами и, невысоко вздымаясь над пожарищем, садился на крыши, угарным туманом опускался в улицы.

Со мною рядом стоял человек дурной славы, домовладелец Капитон Сысоев, крепкий здоровяк, несмотря на его пятьдесят лет и распутную пьяную жизнь.

На бритом скуластом лице, глубоко в костлявых ямах спрятаны узкие, беспокойные глазки. Одет он неловко, небрежно, все на нем как бы с чужих плеч, весь остро неприятен и, видимо, знает об этом — он смотрит на людей вызывающе, с подчеркнутой наглостью.

А на пожар смотрел взглядом человека, для которого вся жизнь и все в ней — только зрелище. Говорил цинично о „зажаренных“ старушках и о том, что хорошо бы всех старушек сжечь. Но что-то беспокоило его, он поминутно совал руку в карман пальто, выдергивал ее оттуда, странно взмахивал ею, и снова прятал, искоса поглядывая на людей. Потом в пальцах его явился маленький сверток бумаги, аккуратно перевязанный черной ниткой, он несколько раз подбросил его на ладони и вдруг ловко метнул в огонь, через улицу.

— Что это бросили вы?

— Примета у меня есть одна, — ответил он, подмигнув мне, очень довольный, широко ухмыляясь.

— Какая?

— Ну, нет, не скажу

Недели через две я встретил его у адвоката Венского, кутилы, циника, но очень образованного человека; хозяин хорошо выпил и заснул на диване, а я, вспомнив о пожаре, уговорил Сысоева рассказать мне о его „примете“. Прихлебывая бенедиктин, разбавленный коньяком — пойло, от которого уши Сысоева вспухли и окрасились в лиловый цвет — он стал рассказывать в шутовском тоне, но скоро я заметил, что тон этот не очень удается ему.

— Я бросил в огонь ногти мои, остриженные ногти, — смешно? Я с девятнадцати лет сохраняю отстриженные ногти мои,

коплю их до пожара, а на пожаре бросаю в огонь. Заверну в бумажку вместе с ними три, четыре медных пятака и брошу. Зачем? Отсюда и начинается чепуха...

— Когда мне было девятнадцать лет, был я забит неудачами, влюблен в недосыгаемую женщину, сапоги у меня лопнули, денег не было, заплатить университету за право учения — нечем, а посему увяз я в пессимизме и решил отравиться. Достал циан. кали, пошел на Страстной бульвар, у меня там, за монастырем, любимая скамейка была, сижу и думаю: прощай, прощай Москва, прощай жизнь, чорт бы вас взял! И вдруг вижу: сидит рядом со мной этакая толстая старуха, черная со сросшимися бровями, ужасающая рожа! Вытаращила на меня глаза и — молчит, давит.

— Что вам угодно?

— Дай-ко мне левую руку, студент, — так, знаете, повелительно требует, грубо...

Рассказчик посмотрел на храпевшего хозяина, оглянул комнату — особенно внимательно ее темные углы — и продолжал тише, не делая усилий сохранить искусственно веселый тон.

— Протянул я ей руку и — честное слово — почувствовал на коже тяжесть взгляда ее выпуклых глаз. Долго она смотрела на ладонь мою и говорит:

— Осужден ты жить, так и сказала: осужден! — Осужден ты жить долго и легко, хорошо.

Я говорю ей: не верю в эти штучки; — предсказание, колдовство...

А она:

— Потому, — говорит, — и уныло живешь, потому и плохо тебе. А ты попробуй, поверь...

Спрашиваю, посмеиваясь:

— Как же это можно, попробовать верить?

— А вот, — говорит, — остриги себе ногти и брось их в чужой огонь, но смотри — в чужой!

Что значит — чужой огонь?

— Ну, — говорит, — как это не понять? Костер горит на улице в морозный день, пожар или сидишь в гостях, а там печь топится...

Потому ли, что умирать мне, в сущности, не хотелось, — ведь все мы умираем по нужде даже и тогда, когда нам кажется что это решено нами свободно, или же потому, что баба эта внушила мне какую-то смутную надежду, но самоубийство я отложил до времени. Пришел домой, остриг ногти, завернул в бумажку, ну-ко, попробую колдовство?

Не прошло недели, как утром вспыхнул пожар на Бронной, против дома, где жил я. Привязал я к ногтям моим старый гвоздь и швырнул их в огонь. Ну, думаю, готово: жертва принесена, чем ответят мне боги? Был у меня знакомый математик, он знаменито играл на бильярде и бил меня, как слепого. Предлагаю ему, чтоб испробовать силу колдовства: «Сыграем?» Пренебрежительно спрашивает: «Сколько очков дашь вперед?» «Ничего, ни нуля». Можете себе представить, что со мной было, когда я обыграл его! Помню—ноги дрожали от радости и точно меня живой водой вспырынуло. Стой, думаю, в чем дело? Совпадение?

Иду к моей недосыгаемой даме, а вдруг и у нее выиграю? Выиграл и с такой необыкновенной легкостью, что это испугало меня, да—так, что я даже сна лишился. Еще одно совпадение? Живу между двух огней: между любовью первой, жадной и—страхом. По ночам вижу эту бабу: стоит где-нибудь в углу и требовательно смотрит на меня тяжелым взглядом, молча двигает бровями. Сказал возлюбленной моей, а она была, как все актрисы, а плохие—особенно, суеверна, разволновалась страшно, ахает и убеждает: стриги ногти, следи за пожарами! Я—стригу и обрезки храню, ни на минуту не забывая, что все это глупо и что, может быть, вся штука в том, что, когда человек потерял веру в себя, ему необходимо запастись верой в какую-нибудь темную ерундищу. Но соображение это не гасит тревоги моей. Накопил я обрезков ногтей порядочно, бросил в огонь и—снова чертовщина; является ко мне лысенький человечек с портфелем. „У вас,—говорит,—в Нижнем-Новгороде, померла двоюродная тетка, девица, и вы единственный наследник ее“. Никогда, ничего не слышал я о тетке и вообще родственниками был беден так же, как они деньгами. Да и было их всего двое: дед со стороны матери, в богадельне, да какой-то многодетный дядя, тюремный инспектор, которого я никогда не видал. Спрашиваю лысенького: «Вы не дьявол будете?» Обиделся.—Нет,—говорит,—я частный поверенный и тети вашей старый друг. «А, может,—говорю,—вас старуха прислала?» Ну, да,—говорит,—конечно, старуха, ей пятьдесят семь лет было. Смотрю на него почти с ненавистью и предупреждаю: платить мне за труды ваши—ничем. „Заплатите, когда я введу вас во владение имуществом“. Чрезвычайно гнусный старичок, навязчивый такой, надутый, и явно презирал меня. Привез он меня сюда и очутился я домовладельцем. Почему-то мне казалось, что получу я деревянный домик в три окна, пятьсот рублей деньгами и корову, но оказалось два дома, магазины, склады, квартиранты и прочее. Богато. Но чувствую я себя неладно,

управляет жизнью моею какая-то чужая, таинственная воля и растет у меня эдакое особенное отношение к Его Сиятельству огню: отношение дикаря к существу, обладающему силою обрадовать и уничтожить. Нет, думаю, чорт меня возьми, этого я не хочу; нет! И начал превращать богатства мои в дым и пепел: завертелся, как пес на цепи, закутил А ноготки стригу, хранию, и на пожарах бросаю в „чужой огонь“. Не могу точно сказать вам, зачем делал это и верил ли я в колдовство, но бабищу забыть не мог и не забыл до сего дня; хотя, надеюсь, она давно уже скончалась. Одолело меня эдакое жуткое любопытство—в чем дело? Университет бросил, живу скандально, чувствую в себе эдакую беспокойную дерзость, всячески испытываю терпение полиции, силу здоровья, благосклонность судьбы. И все сходит мне с рук благополучно. Но, вместе с этим, кажется мне: вот кто-то придет и скажет: пожалуйста! Кто придет, куда поведет—не знаю, но—жду. Начал читать Сведенборга, Якова Беме, Дю-Преля—ерунда. Явная ерундища, даже обидно. А ночью проснусь и—жду. Чего? Вообще. Ведь если одна чертовщина возможна, почему же не быть другой, еще хуже или еще лучше? Решительно ничего не делаю в поощрении удач и удивляюсь: почему я не схожу с ума? Богатый холостяга, женщины любят, в карты играю до отвращения удачно. И даже среди друзей—ни одного недодая, ни одного жулика, все пьяницы, но порядочные люди. Так жил я до сорока лет, а в эти годы, каждый мужчина должен пережить некий кризис,—будто бы это обязательная повинность. Жду кризиса.

— В Киеве, на котрактах, повздорил я с каким-то гонористым поляком, он меня вызвал на дуэль Ага, вот он, кризис! Накануне дуэли пожар на Подоле, загорелись какие-то еврейские лачуги. Поехал я на пожар, бросил ногти в огонь и мысленно требую: чтобы завтра убили меня или тяжело ранили по крайней мере. Но вечером в тот же день, мой поляк ехал верхом, а лошадь испугалась чего-то, сбросила поляка, он переломил себе правую руку и разбил голову. Извещает меня об этом секундант его. Я спрашиваю: «Как это случилось?» „Старуха какая-то бросилась под лошадь“. Старуха? Старуха, чорт вас возьми? Совпадение, дьяволы?

— Тут первый и единственный раз в жизни я испытал припадок какой-то бешеной истерии и меня отправили в Саксонию, в горы, в санаторию. Там я рассказал все это профессору. „О,—говорит немец,—это интереснейший случай“. И определил случай, как насекомое, по-латыни. Потом он поливал меня водой, гонял по горам месяца два, толка из этих прогулок не

вышло. Чувствую я себя скверно и скучаю о пожарах¹⁾. Попимаете? Скучаю. О „чужом огне“¹⁾. И коплю остриженные ногти. Сам внутренне усмехаюсь: ведь—ерунда же все это, дрянь и пакость. А дома я уже заложил, деньги на исходе. Ну-ко что теперь будет, думаю? Путешествую. Нюрнберг, Аугсбург—скучно. Сидя в вестибюле гостиницы, бросил ногти в камин. Через день, лежу в постели, ночью, стучат в дверь: телеграмма: один из трех моих билетов внутреннего займа выиграл пятьсот тысяч, а другой—тысячу. Помню сидел я в постели, озирался и ругал кого-то дикими словами. Страшно было мне, как никогда, так глупо, по-бабьи страшно.

— Ну, всю эту ерундовую канитель долго рассказывать, да и однообразна она. Тридцать четыре года живу я в ней. Честное слово—я делал все для того, чтоб разориться, свернуть себе голову, но, как видите, благополучен. В конце концов я устал от этого и махнул рукою: будь—что будет!

Ему, видимо, стало тяжело, скуластое лицо обиженно и сердито надулось, узенькие, зоркие глазки потускнели.

— И все еще бросаете ногти в огонь?—спросил я.

— Ну, а чем же мне жить, чего ждать? Ведь должна же кончиться эта идиотская чертовщина? Или—нет? Может быть, я и не умру никогда?

Он усмехнулся и закрыл глаза. Потом, закурив сигару, глядя на конец ее, сказал негромко:

— Химия, это—химия, но все-таки в огне скрыто, кроме того, что мы знаем, нечто, чего нам не понять. И прячется огонь невероятно искусно. Так—никто не прячется. Кусочек прессованного хлопка или несколько капель пикриновой кислоты, несколько грамм гремучей ртути, а между тем...

Он щелкнул языком и замолчал.

— Мне кажется,—сказал я,—что все это очень удачно объяснено вами в словах: когда нет веры в свои силы, нужно верить во что-нибудь вне себя. Вот вы и поверили...

Он утвердительно кивнул головою, но, очевидно, не понял или не слышал моих слов, потому что спросил, нахмурясь:

— Но ведь глупо же это?—Зачем ему нужны мои ногти?

Года через два он умер на улице от „паралича сердца“, как сказали мне.

Если в случае Сысоева трудно сказать, насколько его пиromanия есть результат чисто экзогенных влияний, ибо Сысоев тяжелый психопат, и если абстрагировать от первого толчка

¹⁾ Курсив наш, а не Горького.

к пиромании, который пришел извне, то дальнейшее развитие этой страсти можно приписать суеверию, слабоволию, психостении Сысоева—все качества, развившие в нем не одну только пироманию, но ввергнувшие его в тяжелые психопатические состояния, граничащие с душевной болезнью, то в случае священника *Золотницкого*, опять-таки сообщенном *Горьким*, не может существовать никакого сомнения в чисто экзогенном происхождении его пиромании. Случай этот представляет исключительный научный интерес и нельзя не привести его здесь полностью.

«Священник Золотницкий за какие-то еретические мысли тридцать лет просидел в монастырской тюрьме—кажется, в Суздале, в строгом одиночном заключении, в каменной яме. В медленном течении одиннадцати тысяч дней и ночей единственной утехой узника христороливой церкви и единственным собеседником его был огонь: еретика разрешали самосильно топтать печку его узилища.

В первых годах столетия Золотницкого выпустили на свободу, потому что он не только забыл свое еретичество, но и вообще мысль его не работала, почти угаснув. Высушенный долголетним заключением, он мало чем напоминал жителя поверхности земли, ходил по ней, низко склоня голову и так, как будто он идет все время вниз, опускается в яму, ищет куда бы спрятать хилое, жалкое тело свое. Мутные глаза его непрерывно слезились, голова тряслась и бессвязная речь была непонятна. Волосы головы были уже не седые, а «впозелень»; зеленоватый, гнилой оттенок волос был ясно заметен даже на темных щеках тряпичного, старческого лица. Полуумный, он, видимо, боялся людей, но из боязни перед ними скрывал это. Когда с ним заговаривали, он поднимал сухонькую, детскую руку, как будто ждал удара по глазам и надеялся защитить их этой слабой дрожащей рукою. Был он тих, говорил мало и всегда вполголоса, робко шелестящими звуками.

Он вышел из тюрьмы огнепоклонником и оживлялся только тогда, если ему позволяли разжечь дрова в печке и сидеть перед нею. Усаживаясь на низенькой скамейке, он любовно зажигал дрова, крестил их и ворчал, трясая головою, все слова, какие уцелели в памяти его.

— Сущий... Вечный огонь. Иже везде сый. Попадайяй грешные...

Тыкал горящие поленья коротенькой кочергою, качался, как бы готовясь сунуть в огонь голову свою; воздух тянул в нечь зеленые, тонкие волосы его бороды.

— Всесилея есть. Никому же подобен. Лик твой да сияет во веки веков. И бегут... Тако да бегут... От лица огня... Яко дым от лица огня... Тебе хвала, тебе слава. Купина...

Его окружали сердобольные люди, искренно изумляясь и тому, до чего можно замучить человека, и тому, как, все-таки, живуч и вынослив человек.

Велик был ужас Золотницкого, когда он увидел электрическую лампочку, когда перед ним таинственно вспыхнул белый, бескровный огонь заключенный в стекло.

Старик, присмотревшись, замахал руками и жалобно стал бормотать:

— И его—ох,—и его... Почто вы его? Не дьявол, ведь! Ох,—почто?

Долго не могли успокоить старого узника; из его мутных глаз текли маленькие слезинки, весь он дрожал и, горестно вздыхая, уговаривал окружающих:

— Ой, рабы божие...—почто? Лучик солнечный в плен свергли... Ох, людие! Ох, побойтесь гнева огненного...

И дрожащей, сухонькой рукою он осторожно дотрагивался до людей, всхлипывал:

— Ох, пустите его...

Таким образом, мы видим, что этиологически можно различать двоякого рода пироманию: эндогенную и экзогенную или пироманию, коренящуюся в самой природе индивида, в его болезненно необузданных инстинктах, и пироманию, приобретенную в жизни благодаря действию определенных внешних факторов. Первого рода пиромания должна считаться тяжелой формой пиромании. Активно-преступная пиромания встречается почти исключительно при эндогенной пиромании, что легко объясняется стихийной силой прирожденного пироманического инстинкта. Когда же пиромания навеяна извне, то она, при отсутствии движущих изнутри, из самой природы человека сил, редко принимает характер опасной для общественной безопасности страсти.

Пиромания фигурирует в психиатрии в группе т. н. *импульсивного помешательства*. Это, собственно, должно нам быть понятно, ибо действует пироманьяк *импульсивно*, под влиянием вспыхнувшей страсти при невозможности подавить болезненно возбужденный пироманический инстинкт. Поскольку же пиромания пассивна и не ведет к преступным поступкам и деяниям, ею в психиатрии практически можно пренебречь. Теоретически же она очень важна, т. к. она нам делает понятной непонятное само по себе явление активной пиромании

и предохраняет нас от лживых представлений и невероятных предположений о происхождении активной пиромании. Вряд ли *Крепелин* выдвинул бы на первый план «неясное стремление к свободе» как основную причину пиромании и еще менее вероятно, что он в «молодых служанках» видел бы типичных представителей пиромании, если бы он был в состоянии учесть пассивную пироманию, как источник активной пиромании. Упрекнуть *Крепелина* в абсолютной ошибочности его взгляда трудно, ибо, поскольку пиромания есть следствие экзогенных воздействий, допустима и возможность «неясного стремления к свободе» «молодых служанок», как этиологический момент пиромании. Однако, мы видели, что экзогенная пиромания редко, если вообще принимает характер активной пиромании, единственную которую *Крепелин* имеет в виду. Что же касается момента радости при виде игры огня, о котором говорит *Крепелин*, то тут имеется правильная догадка, которую *Крепелин* не был в состоянии достаточно оценить, иначе он неминуемо паткнулся бы на всю проблему пассивной пиромании и нашел бы правильное разрешение загадки активной пиромании. Вот почему мы в самом начале этой работы и говорим, что *Крепелин* был близок к истине, но истина осталась далеко от него...

5. Горький о пиромании.

Если нам удалось пролить свет на проблему пиромании, прозябавшей до сих пор в мраке, которым покрыты многие другие неразрешенные проблемы психиатрии, то мы бесспорно обязаны этой удачей *Горькому*. Наблюдательное проникательное око *Горького* могло заглянуть в те душевные тайники человека, куда анализирующий ум психиатра проникнуть не мог, и те картины пиромании, которые наблюдал и зарисовал нам *Горький*, говорят в достаточной степени за то, что *Горький* лучше всякого психиатра понял, в чем заключается пироманическая страсть. Но, ведь, *Горький*—художник, а не ученый психиатр, и не мог он нам развить в своих рассказах теорию пиромании, хотя основы этой теории в его «Пожарах» и имеются. Когда же я, ознакомившись с «Пожарами» *Горького*, узрел в *Горьком* настоящего теоретика пиромании, не обладавшего только своих теорий в язык научной психиатрии, я просил *Горького* изложить свой взгляд на пироманию, в особенности на ее происхождение. В ответ на мою просьбу *Горький* прислал мне из Сорренто следующее письмо.

Уважаемый Иван Борисович.

Вот три случая пиромании, может быть, интересных для Вас:

в прошлом году в Берлине некий молодой человек был приговорен к 15-ти годам тюрьмы за 23 поджога; поджигал бескорыстно «из любви к огню», по его словам. Бескорыстие установлено судом.

И в прошлом же году в Нью-Йорке судился пожарный, совершивший за сем лет около двухсот пожаров. Оба эти факта взяты мною из газет, но, к сожалению не помню даты №-ов.

В 95 г. Самарский окр. суд судил за поджоги крестьянина Ботова или Бутова и его зятя. Тестю—под 60, зятю—лет 20. Оба признаны экспертами вполне нормальными. Экспертиза была допущена по ходатайству защиты, опиравшейся на такой факт, установленный следствием: подсудимые подожгли и свой *незастрахованный дом*. Это был их четвертый поджог, а на шестом они были схвачены на месте преступления. Зять в своем последнем слове сказал: «Простите тестя, это я его подвел на шалость».

Мне кажется, что, мысля о пиромании, нельзя упускать из вида мотив эстетический, «любовь к огню», увлечение красотой его игры, а также и мистический мотив, т. е. издревле идущее религиозное преклонение пред огнем, особенно развитое у северных народов. В Костроме до последних годов XIX ст. держался праздник в честь бога солнца «Костромы» он же весенний бог «Ярило». На празднике обматывали пенькой тележное колесо, мазали его соломой, зажигали и катили с горы на Волгу Таких пережитков древнего преклонения огню в нашем крестьянском быте не мало. Вы, конечно, наблюдали у детей любовь к «игре с огнем». Думается, что «игра с огнем» не всегда признак психопатологический. Здесь, в Италии, почти ежедневно фейерверки—я говорю о Неаполитанской провинции. На эту игру тратятся огромные суммы денег. Завтра в Сорренто будет сожжен пятый фейерверк. В текущее лето на него затрачено девять тысяч лир. А в прошлом году праздновалось столетие со дня смерти местного святого аббата Антоннио, сожгли 63 т. лир, при чем 20 тысяч было прислано из Америки эмигрантами соррентинцами нарочито для этой цели.

Не знаю пригодится ли Вам все это, но, на всякий случай, сообщаю.

Мне кажется, что психопатологи мало обращают внимания на момент эстетический, который—на мой взгляд профана—часто является причиной или источником различных странностей, «извращений» и т. д. Иногда думаешь, что особенно заметно влияние этого момента в сфере сексуальной, где человек, не желая видеть себя слишком животным, действует

иногда—«от разума» и еще туже затягивает петлю инстинкта. Думается также, что это особенно часто случается с немцами. Я имею в виду не Шопенгауэра, плохого ученика его Вейнингера («Пол и характер») и др., а—быт. Германия—страна, где гомосексуализм официально признан и где его научно оправдывает биолог Штейнах.

Мы не можем не согласиться с Горьким, что эстетический момент может быть причиной или источником всевозможных заблуждений, странностей и извращений. Но вероятнее всего, что мы в таких случаях имеем дело с *извращенным эстетическим чувством*, заставляющим индивида видеть и искать прекрасного там, где его обычно не ищут. Если приверженец гомосексуализма будет защищать свою страсть, ссылаясь на то, что он находит половой акт с женщиной неэстетичным, то мы в этом усмотрим извращение эстетического чувства гомосексуального и ничуть не эстетическое определение гомосексуализма. По существу, однако, Горький прав и в частности что касается пиромании, то здесь эстетические мотивы в этнологии заболевания превалируют. Прав Горький и тогда, когда он думает, что не всякая пиромания патологична. Патологичной пиромания делается лишь тогда, когда руководящие ею эстетические мотивы до того извращаются, что красота игры огня только тогда воспринимается как таковая и способна удовлетворять индивида, когда огонь превратился в бурную стихию, губящую счастье других членов общества, и индивидуум жертвует счастьем других людей ради удовлетворения своей страсти, лишая их крова и имущества. В таких случаях мы имеем дело с пироманией, где помимо эстетических мотивов играет иногда роль и садистическая страсть (император *Нерон*), а иногда и многие другие мотивы, о которых мы говорили в предыдущих главах.

V. Параноя в художественном изображении Максима Горького.

Среди «Заметок из дневника и воспоминаний» Максима Горького, составляющих XVII том его собрания сочинений (Госиздат, Ленинград, 1926) имеется небольшой рассказ: «Паук», герой которого Ермолай Маков, в том виде, как его описал Горький, является типичным представителем того психического заболевания, которое в психиатрии именуется *параноей*. В виду редкости этого заболевания, а также благодаря исключительной живости картины паранои, которую нам дает Горький в «Пауке», я решил познакомить широкие круги психиатров

с этим рассказом Горького в надежде, что читатели психиатры извлекут для себя большую пользу, изучая случай Ермолая Макова.

П а у к.

Ермолай Маков, старик, торговец, «древностями», человек длинный, тощий и прямой, как верстовой столб. Ходил он по земле, как солдат на параде, смотрел на все огромными глазами быка, в серовато-синем, мутном блеске их было что-то унылое и тупое. Он казался мне глупым, в этом особенно убеждала меня своенравная и капризная черта его характера: принесет продавать чернильницу под'ячего, жалованный ковш целовальника или древнюю монету, упорно торгуется, продаст и вдруг могильным голосом скажет:

— Нет, не хочу.

— Почему?

-- Охоты нет.

— Зачем же ты целый час болтал зря.

Он, молча, сунет вещь в бездонный карман своей поддевки, вздохнет тяжело и уходит, не простясь, как будто крепко обиженный. Но через день, а иногда через час, неожиданно является, кладет вещь на стол:

— Бери.

— А что-ж ты прошлый раз не продал?

— Охоты не было.

Он был нежаден на деньги, по многу давал нищим, а к себе относился небрежно: ходил зиму и лето в старенькой, на вате, поддевке, в теплом измятом картузе, в худых сапогах. Жил—бездомно, переходя из поместья в поместье: из Нижнего в Муром, из Мурома в Суздаль, Ростов, Ярославль и снова являлся в Нижнем, всегда оставаясь в грязневских „номерях“ Бубнова; их населяли торговцы канарейками, шулера, сыщики и всевозможные искатели счастья;—они искали его, лежа на продавленных диванах, в облаках табачного дыма. Среди этого человеческого мусора Маков пользовался особенным вниманием, как „ходовой“ человек и хороший рассказчик; рассказывал же он всегда о том, как разрушаются—„хизнут“—старые „дворянские гнезда“. Говорил он об этом с глухой, унылой злобой, особенно густо и настойчиво подчеркивая легкомыслие помещиков.

— Шары гоняют. Очень любят они шары гонять деревянными молотками,—игра такая. И сами как шары эти стали,—совсем бессмысленно катаются туда-сюда по земле.

Однажды, туманной ночью осени, я нашел Макова на па-

роходе, по дороге в Казань. Едва шевеля колесами, пароход слепо и осторожно сползал, сквозь туман, по течению; в серой воде и сером тумане расплывались, таяли его огни, глухо и непрерывно ревел гудок; было тоскливо, как в тяжелом сне. Маков сидел на корме, одиноко, точно прячась от кого-т. Мы разговорились, и вот что он рассказал:

— Двадцать третий год живу я в неизбынном страхе и нет мне спасения от него. А страх мой, сударь, особый: вселена в плоть мою чужая душа. Было мне, сударь, тридцать годов и водился я с одной бабой, не иначе, как—ведьмой. Муж у нее—приятель мой—был добрый человек, а больной, умирал. И в ночь, когда помер он, а я спал, бабенка эта, окаянная, изняла из меня мою душу, а его душеньку заключила в мою плоть. Ей было выгодно это, муж-от был ласковее меня к ней, треклятой. Помер он—и сразу стало мне заметно: не тот я человек. Бабу эту, прямо скажу, не любил я, просто баловался с нею, а тут вижу: влечется к этой бабе душа моя. Как же это? Неприятна женщина мне, а оторваться от нее не могу. Все мои отличные качества дымом исчезли, нудит меня неведомая грусть, стал я робок к ней и вижу: серовато все вокруг, как золой опылено, а баба эта—лицо огня! Играет со мною, залиывая меня во грех, по ночам. Тут и понял я: подменила она душу мне, чужой душою живу. А моя-то, настоящая-то моя, богом данная мне—где же? Испугался я...

Тревожно гудел гудок, глухой гул его упирался в туман, пароход, точно ущемленный, ворочал кормою, урчала и плескалась вода под нею, темная и жирная, как смола. Старик, прислоняясь спиною к борту, передвигая ноги в пудовых сапогах, нелепо шарил руками вокруг себя и тихонько говорил:

— Испугался я, пошел на чердак, сделал петлю, привязал к стропилу,—углядела меня прачка, зашумела—вынули из петли. И после того очутилось около меня несообразное существо: шестиногий паук, величиной с небольшого козла, бородач, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока в голове, а третье—меж грудями, вниз, в землю глядит, на мои следы. И куда не иду, он неотступно за мной перебирается, мохнатый, на шести ногах, вроде бы тени лунной, и никому его не видать, кроме меня,—вот он здесь, а ты его не видишь, вот он!

Протянув руку влево от себя, Маков погладил что-то в воздухе на высоте вершков десяти от палубы; потом, вытирая руку о колено, сказал:

— Мокрый.

— Что же ты, так двадцать лет и живешь с пауком?—спросил я.

— Двадцать три. Ты думаешь—безумен я? Вот, ведь, стража моя, вот он прихилился, паук-от...

— А с докторами не говорил ты о нем?

— Полно-ка, сударь, что тут доктор может? Ведь это не нарыв, ножиком не отрежешь, микстурой не вытравишь, мажями не затрешь. Доктор его не видит, паука-то.

— Говорит с тобой паук?

Маков удивленно взглянул на меня и спросил:

— Смеешься, что-ли? Как же паук говорить может? Он мне для страха дан, чтоб я с собой не располагал, не погубил бы чужую душу. Ведь душа-то во мне чужая, вроде бы—краденая. Лет десяток назад тому, задумал я утопиться,—бросился с баржи в воду, а он, паук, вцепился лапами в борт, да и в меня, я и повис за бортом. Ну, притворился я, будто нечаянно за борт упал. После матросы говорят: поддевка удержала меня, зацепилась за что-то. А вот она поддевка-то какая поддела меня...

Старик снова погладил, потрогал рукою влажный воздух.

Я помолчал, не зная что сказать человеку, который живет бок о бок с таким странным созданием воображения своего, живет, а—не совсем безумен.

— Давно я хотел потолковать с тобой про этот случай,—говорил он тихо, просительно.—Ты говоришь обо всем смело, верю я тебе. Скажи мне, сделай милость, как по-твоему: от бога паук этот охрана мне, али от дьявола?

— Не знаю.

— Подумал бы ты... Я полагаю—от бога, это он охраняет, бережет чужую душу во мне. Ангела приставить не захотел, не достоин я ангела. А, вот, паук, это—умнее. Страшный, главное. Долго не мог я привыкнуть к нему.

Сняв картуз, Маков перекрестился и сказал тихонько, воодушевленно:

— Велик и благодетелен бог наш, господин и отец разума, пастырь душ наших.

...Через несколько месяцев, лунной ночью, я встретил Макова на одной из глухих улиц Нижнего-Новгорода, он шел по тротуару, прижимаясь к заборам, как бы уступая дорогу кому-то.

— Что—жив паук?

Старик усмехнулся, наклонясь, провел рукою по воздуху и ласково сказал:

— А—вот он...

Спустя три года, я узнал, что в 905 году Макова ограбили и убили где-то около Балахны.

Крепелин ¹⁾ характеризует параною (Verrücktheit) следующим образом:

«Из необозримой массы заболеваний, сопровождающихся развитием бреда, выделяется сравнительно небольшое количество случаев, в которых на почве своеобразного предрасположения *при полной сохранности осмысленности и правильности в мышлении, в чувствах и поведении медленно развивается стойкая система бреда, представляющая переработку жизненных переживаний.* Источниками бреда является, во-первых, повышенное чувство собственного достоинства, которое при замкнутости больных приводит к противоречиям с требованиями жизни и к различным положениям в борьбе за существование, далее живое воображение, благодаря которому проблемы в жизненном опыте щедро заполняются вымышленными прибавлениями, и, наконец, чрезмерная зависимость суждения от потребностей чувства, словом, все такие особенности, которые вообще наблюдаются на фоне не вполне развитой, инфантильной психики. В связи с этими особенностями возникает тенденция оценивать и истолковывать данные опыта более или менее произвольно, исключительно с субъективной точки зрения и ставить их в зависимость от своих желаний или опасений, и, искажая действительность, так представлять окружающие взаимоотношения, как это более всего соответствует личным интересам. Галлюцинации при этом играют известную роль, главным образом, в форме отдельных видений или неузнавания и неправильного толкования действительных впечатлений; часто встречаются, наоборот, ложные воспоминания. В результате этих очень медленно совершающихся изменений является создание особого *бредового мирозерцания, односторонний сдвиг („Verückung“)* основной точки зрения, являющейся центром, около которого вращается вся жизнь больного».

Такую картину параноического развития болезни в типичной форме мы наблюдаем у Ермолая Макова. Маков имел свой несчастный роман, который «свел его с ума» не своей неудачей, а совершенно неожиданной «удачей». Он, собственно, не влюбился, а «баловался» с женой своего друга, но незаметным и непонятым для него образом, Маков подпал после смерти друга влиянию его жены и сделался в ее руках игрушкой ее похоти. Маков ищет объяснения этой непонятной для него превратности судьбы и находит его в самой сумасбродной бредовой идее:

¹⁾ *Крепелин*. Введение в психиатрическую клинику. Перевод В. Гилл-робского. Госиздат, 1923.

При смерти друга, жена этого, последнего, «изъяла» у него, спящего Макова, душу, а душу умершего заключила в его плоть! Эта «делка» должна была для героини романа оказаться чрезвычайно выгодной, ибо муж был ей предан всеми фибрами своей души и, подменив у Макова его душу душой мужа, Маков должен был бесповоротно сделаться ее пленником. Этой невозможной для всякого здравомыслящего человека идеей Маков думал спастись от, якобы, непонятого ему слабоволия, подчинившего его всецело влиянию женщины, имевшей над ним постоянно некоторую власть. Однако, понятно, что бредовая идея, связанная с таким, так сказать, центральным событием в жизни нашего героя, как всепокоряющая *навязчивая любовь*, не могла не повлиять на образ мыслей Макова и на дальнейшее течение событий его жизни, и вот мы видим, как Маков, не будучи в состоянии примириться с мыслью, что он лишился своей души и управляет им и всеми его действиями душа умершего друга, покушается на самоубийство через повешение и спасенный очевидцами он через много лет покушается вторично на самоубийство, спасенный на этот раз „пауком“. Паук—галлюцинация больного, и смысл этой галлюцинации заключается в том, что она предохраняет его от самоубийства. Паук, шестиногий, величиной с небольшого козла, бородач, рогат, с женскими титьками, о трех глазах, два ока в голове, а третье меж грудями, вниз, в землю глядит на следы больного, бережет его везде, следуя ему постоянно по пятам и не дает ему сделать какой-нибудь нелепости.

Когда больной Маков бросился раз за борт баржи, чтобы окончить жизнь утопленником, то, как говорит Маков, паук вцепился в него и удержал его, а не зацепившийся пиджак, как утверждают матросы. Так спасает „паук“ Макова 23 года подряд от всякой беды и смерти.

Вот те основы, на которых у Макова вырабатывается характерное для паранойка бредовое мирозерпание. Веруя в бога и в какой-то своеобразный метемпсихоз, Маков, при помощи бредовых идей и галлюцинаций, строит свой особый психический мир, недоступный ни уму, ни чувствам других людей. Но живет он в этом мире, как цыпленок в скорлупе, не пропагандируя своих идей и не давая им даже сферы влияния в его взаимоотношениях с людьми. Вследствие этого Маков, как правильно отмечает *Горький*, „не совсем безумен“. Правда, Маков имеет и в повседневном своем обращении с людьми некоторые странности, невыгодно отличающие его от других людей, накладывающие на него печать чудаковатости. При всем том Маков удовлетворительно уживается в условиях жизни обще-

ства, и если он случайно не чувствует побуждения рассказать о своем бредовом мирозерцании, то никто и не догадывается, что имеет пред собой душевно-больного человека. Нужен большой дар наблюдения, чтобы открыть в некоторых случайных движениях и неуместных поступках параноика признаки глубоко замаскированной душевной болезни.

Таков Маков, таковы все параноики. Они живут, как бы в двух мирах: мир бредовой своей фантазии и мир действительности, так что эти миры имеют свои точки соприкосновения друг с другом, ибо мир фантазии исходит из мира действительности и неминуемо должен, поэтому, оказать обратное действие на ту действительность, которая послужила ему исходной точкой. В общем же параноический мир параноика ведет свою автономную жизнь и до того редко вторгается в повседневную жизнь параноика, что параноик может показаться нормальным не только окружающим его обывателям, но при поверхностном с ним соприкосновении даже спецу психиатру.

Параноик Маков представляет для психиатра особенный интерес, ибо исходным пунктом развития бредового мирозерцания больного послужил сексуальный комплекс—навязчивая любовь. Обыкновенно параноя имеет своим содержанием бред преследования и ревности или бред величия, и *Крепелин* так различает два главных вида параной. Однако, *Фрейд* указывал на то, что параноя развивается на почве бессознательных сексуальных комплексов и был даже склонен, как везде при психозах и психоневрозах, видеть в сексуальной сфере единственный источник параной. Случай Макова дает повод думать, что сексуальная сфера играет роль при развитии параной и может даже быть единственным источником ее. Так, у Макова преследовавшая его больше 23 лет галлюцинация паука носит характер сексуальной галлюцинации, ибо паук «защищавший» Макова, имеет женские груди, и вообще паук символ сексуальной страсти (алголанической) ¹⁾. Не трудно доказать, что «паук» до известной степени служил для удовлетворения психосексуальных нужд Макова, принимая во внимание хотя бы те движения Макова, когда он любовно поглаживает «паука», никому невидимого. Трудно также поверить, что если бы паук был совершенно неприятен Макову, эта галлюцинация могла бы его преследовать в течение 23 лет и больше, день за днем, не отступая. В таком случае Маков погиб бы гораздо раньше, чем это с ним случилось. Конечно, Маков и без того пытался покончить самоубийством, но тут действовала больше невыноси-

¹⁾ См. Galant. Algehallucinosi. Berlin. Hirschwald. 1920.

мая идея, что он потерял свою душу, а не охранявший его паук.

Таким образом, с какой стороны мы не рассматривали бы сообщенный Горьким случай Макова, случай этот представляет для психиатра исключительный интерес, т. к. расширяет наши знания о паранойе и бросает свет на некоторые темные пункты в проблеме паранои. Очевидно, и при заболевании параноей сексуальная сфера играет немаловажную роль и Горькому подobaет слава художника, который весьма правдиво и картинно изобразил параную в менее известной до сих пор форме развития из психосексуального комплекса навязчивой любви.

VI. Невроз навязчивых состояний.

Типичные, весьма оригинальные картины этого невроза у Максима Горького.

Неврозов навязчивых состояний очень много, ибо поводом к этим неврозам может служить любое представление (а их, как известно, неисчислимо множество), а также всякое чувство, воспоминание, желание, насколько они приобретают свойство навязчивости, т. е. преследуют человека везде, помимо его воли, навязываются и не дают ему желанного покоя. Большое распространение имеют навязчивые страхи или фобии. «Естественная боязнь перед опасностями, угрожающими благополучию в жизни и здоровью, может принять фантастические формы, при чем, вопреки всяким доводам рассудка, воображением завладевают мучительные представления о совершенно маловероятных несчастных случайностях. Разнообразие таких страхов в такой же степени велико, как и количество опасностей, которые только можно представить. Сюда относятся навязчивые страхи грозы и пожара, зверей и людей, экипажей и железных дорог, мостов, открытых окон, каких-либо тяжелых вещей, могущих упасть сверху, колющих или режущих предметов, осколков стекла, отравы, нечистоты, заражения. Чувство беспомощности и одиночество, охватывающее на обширных площадях или безлюдных улицах, ведет к агорафобии, аналогичные представления—к страху запертых или открытых дверей, многолюдных общественных мест (театра), темноты, проезда по железным дорогам, ограничивающим свободу передвижения. Опасения, хотя и признаваемые бессмысленными, но все же с характером непреодолимых, могут развиваться также на почве суеверного придавания значения различным отношениям (числам, буквам, словам, дням недели). Наконец, играет большую роль страх заболеть чем-нибудь: собачьим бешенством,

сифилисом, чахоткой, размягчением мозга, заболеванием спинного мозга, психозом; эти страхи постоянно требуют успокаивающих воздействий, если для них нет даже самого ничтожного повода».

Но самым интересным с психопатологической стороны навязчивым состоянием является состояние навязчивого мудрствования, когда больной одержим необходимостью мыслить беспрестанно над какой-нибудь неразрешимой задачей, которая не имеет прямого отношения к судьбам больного, но которая, сделавшись центром внимания больного и поглощая всю его мыслительную деятельность, ведет к тому, что вся его жизнь принимает совершенно другой оборот и превращается она в прямое следствие болезненного мудрствования больного, а следовательно, делается весьма причудливой, и люди эти бросаются в глаза своей причудливостью, которая нередко граничит с тяжелой душевной болезнью.

Чтобы получить полное представление о том неврозе навязчивого состояния, который имеет своим содержанием навязчивое мудрствование, необходимо познакомиться с двумя типичными случаями этого невроза, как их изображает Горький в своем рассказе «Испытатели»¹⁾. Первый случай, это — банщик *Степан Прохоров*.

Прохоров так рассказал Горькому свою жизнь:

— Правильно позволили заметить, я — человек добрый. Однако-ж родился я и половину жизни прожил, как все, без внимания к людям, добрым же стал после того, когда потерял веру в господина бога. А это произошло со мною от непрерывных удач в жизни. Удача преследовала меня со дня рождения; отец мой, слесарь во Мценске, так и говорил: «Степанка родился на счастье», — потому что, в год рождения моего, ему удалось разжиться: открыл свою мастерскую. И в играх я был удачлив и учился играючи; не испытал никаких болезней и неприятностей. Кончил училище, — сразу попал в богатое поместье, в контору к хорошим людям; хозяевами был любим, барыня говорила мне: «Ты, Степан, имеешь способности, береги себя». И это верно: способностей у меня было настолько много, что я сам себе удивлялся: откуда они? Даже лошадей лечил, не имея никакого понятия, чем они хворают. Любую собаку выучивал ходить на задних лапах, и не боем, а только ласкою учил. На женщин тоже имел удачу: какая нравится, та и явится, без запинки. В двадцать шесть лет был я старшим конторщи-

¹⁾ Том XVII полного собрания сочинений. Госиздат. Ленинград. 1926 г. Стр. 118.

ком, и, без ошибки говорю, мог бы стать управляющим. Г. Маркевич, писатель книг, вроде вас, восхищался: «Прохоров—настоящий русский человек, как Пурсам». Кто таков Пурсам—не знаю, но Г. Маркевич был к людям строг, и его похвала—не шутка! Очень я гордился собою—и все шло хорошо. Были у меня деньжонки прикоплены, собирался жевиться и уже присмотрел приятно подходящую мне барышню, но вдруг, незаметно для себя, почувствовал опасность жизни. Загорелся у меня любопытнейший вопрос: почему мне во всем удача? Именно—мне? Вспыхнул вопрос этот,—и даже спать не могу. Бывало, устанешь за день, как лошадь на пашне, а ляжешь спать и думаешь, открыв глаза: почему мне удача? Конечно—способности у меня, богомолен я, неглуп, скромен, трезв. Однако же, вижу людей многим лучше меня, но им не везет фортуна. Это—вполне ясно. Думал, знаете, думал: как же ты, господи, допускаешь такое? Живу, точно ягода в сахарном варенье, а, однако, кто же меня съест? И все у меня на уме одно это. Чувствую, что в удачной жизни моей скрыта какая-то хитрость, как будто заманивают меня приятностями, к чему манят? Мысленно спрашиваю: куда, господи, ведешь? Молчит господин бог... Молчит.

— Тогда решил я: дай-ка, попробую бесчестно жить, что будет? И взял из кассы денег четыреста двадцать рублей в том расчете, что за кражу свыше трехсот в окружном суде судят. Хорошо. Взял. Конечно—хватились. Управляющий Филипп Карлович, добрейший человек, спрашивает, где?—Не знаю. А сделано было так, что, кроме меня, подумать не на кого. Вижу: Филипп Карлович весьма смущен и тоскует. Ну, думаю, зачем же мучить хорошего человека? Говорю ему: деньги украл я. Не верит. «Шутишь», кричит. Однако—поверил, доложил барыне, та даже испугалась: «Что с тобой, Степаи?»—Судите, говорю. Рассердилась она, покраснела, рвет пальцами оборку кофты. «Судить,—говорит,—я не стану, по ты так нахально держишься, что... сам согласишься»... Я согласился и ушел от них, уехал в Москву, а деньги возвратил почтой, от чужого имени, не от своего...

Я спросил старика:

— Зачем же Вы это сделали? Пострадать захотелось?

Удивленно подняв густые, колючие брови, он усмехнулся в бороду и вытряс из нее усмешку ударами чисто вымытой ладони по курчавым волосам бороды.

— Ну, нет—зачем же мне страдать? Я—любитель спокойной жизни. Нет, — просто любопытство одолело меня: почему мне удача? А, может, осторожность заставила: испытать хотел—насколько прочны удачи мои? Вообще же — молодость, хе-х!

Играет человек сам собой. Хотя, однако, тут не чистая игра, т.-е. не одна чистая игра. Необыкновенно жил: в холе и ласке, подобно комнатной собачке. Люди вокруг морщатся, охают, а я—осужден господином богом на спокойную жизнь до конца дней, как видно. Всем людям—разные испытания, а мне—ничего, как будто я не достоин обыкновенного, человеческого. Вот и все, полагаю...

— Н-ну-с, лежу в Москве, в гостинице, в номере, думаю: другого бы за рубль под суд отдали, а мне и за четыреста рублей—ничего! Даже смешно стало: вот она, неудача! Нет, думаю, погоди, Степан! Присматриваюсь к людям; гостиница грязенькая, народ в ней темный: картежники, актеры, мягкие бабенки. А один выдал себя за повара, однако, оказался по ремеслу вором. Завел я с ним знакомство.—Как живете, спрашиваю?—«Да так—говорит—когда—густо, когда—пусто, когда—нет ничего». Разговорились. «Есть,—говорит,—у меня в виду одно дельце, но требуется хороший инструмент, а инструмент дорогой, денег же у меня нету».—Ага,—думаю,—вот оно! Спрашиваю его: разрушения чужой жизни не будет? Он даже обиделся: «Что вы», шипит, «мне своя башка очень дорогая!» Н-ну-с, дал я ему денег на инструменты и чтобы, в награду мне, взял он меня с собой на грабеж. Поломался он, поартачился, однако—взял. Занятие его не понравилось мне, как будто ходили мы в гости, а хозяев не застали дома. Отперла нам дверь черномазенькая девица, как видно.—знакомая его, он ее сейчас же ловко связал по рукам, по ногам и начал ковырять, а сам тихонько посьви тывает. Простота. Как пришли, так и ушли, не испытав ни малого беспокойства. Человек этот сейчас же скрылся из Москвы, а я живу один, дурак дураком.—Так, думаю, опять удача? И смешно мне, и злюсь на все. В озлоблении на себя и на господина бога, который, ведь, должен был видеть все, что я делаю, пошел я в театр, сижу на балконе, а через человека от меня сидит эта черномазенькая девица, смотрит на сцену и слезы платочкомтирает. В перерыве комедии подошел я к ней.—Кажется, знакомы,—говорю? Ну, она, однако, не отвечает. Напомнил я ей кое-что.—«Ах,—говорит.—тише, пожалуйста». Спрашиваю: от какой печали слезы льете? «Принца, говорит, жалко». Это на сцене принц какой-то извивался. После театра пошла она со мной в трактир, а из трактира увел я ее к себе в номер, и стали мы жить вместе, вроде любовников. Она, принимая меня за настоящего вора, спрашивает: «Дел нету?»—Дел у меня нет,—говорю.—«Хорошо, я тебя познакомлю с компанией». Познакомила. Оказалось, что хотя и воры, однако, ребята хорошие.

Особенно—один, Костя Башмаков, удивительное создание обстоятельств природы, словно ребенок, такая ясная, веселая душа! Очень подружился я с ним. И сознаюсь ему: мне, собственно, ничего не надо, я только из любопытства вором стал. А он говорит: «Я тоже из живости души, очень,—говорит,—много хорошего па земле и приятно жить. Мне,—говорит,—иной раз хочется на улице крикнуть: братцы, ловите меня, я есть вор!» Забавная личность, но в скорости, срыгнув на ходу с поезда, сломал он себе руку, а потом приключилась ему чахотка, уехал в степь кумыс пить. Валандался я с этой компанией—трое было их—четыренадцать месяцев, воровали мы по квартирам и по поездам, и ожидал я, что, вот, завтра, случится необыкновенное, страшное—однако, все сходило с рук вполне благополучно. Голова компании Михайло Петрович Борохов, очень почтенный человек и приметный умница, однажды говорит: „Это нам с той поры фортуна повезла, как пристал к нам Степан“. Опамятовали меня его слова, воротился я от рассеянной жизни к себе самому, задумался: что же теперь? Человека убить мне, что ли? И мыслишка эта воткнулась в сердце занозой, воткнулась, сидит, нарываёт. Ночью сяду на койке, суну руки в колени и думаю: как же это так, господин бог? Стало быть, вам все равно, как я живу? Ведь, вот, собираюсь я человека убить, подобного мне, и очень просто могу убить. Как же это? Молчит господин бог...

Старик глубоко вздохнул и стал намазывать ложкой варенье на хлеб.

— Гордый вы человек,—сказал я.

Снова приподняв тяжелые мохнатые брови, он пристально посмотрел на меня фарфоровыми глазами, теперь они показались мне особенно пусты и жестко светлы.

— Нет, зачем же!—ответил он, заботливо расправляя бороду, чтоб не испачкать ее вареньем.—Человеку гордиться нечем, как я полагаю.

И аккуратно отправляя в свой волосатый рот маленькие кусочки хлеба, он продолжал все так же, в полголоса, говоря как бы о человеке чужом, мало приятном ему:

— Там-то-с, молчит господин бог. А тут сразу подсунулся мне соблазнительный случай: залезли мы ночью на дачу, действуем.—вдруг откуда-то, в темноте, сонный голос: „Дядя, это ты?“ Товарищ мой вышмыгнул на балкон, а я присмотрел—вижу: дверь, а за ней кто-то возится. Приоткрыл дверь, а там в уголке, на кровати, лежит мальченка лет двенадцати, в головке руками скребет, длинноволосый такой. И снова спрашивает: «Дядя?» Смотрю я на него, а у меня руки, ноги

дрожат, сердце замирает; вот, думаю, случай. ну-ко, Степан, ну-ко! Да во-время спохватился: нет,—думаю,—на это я не пойду, нет! Может, ты меня, господин бог, всеми удачами к этому греху—к убийству невинного—и заманивал? К этой яме и вел, спокойной-то тропой? Нет, не-ет... И так эта догадка осердила меня, что даже не помню, каким ходом я ушел и очутился в лесу.

Сажу под деревом, рядом со мной товарищ папироску курит, ругается тихонько. Дождик кропит нас, по лесу звонкий шопот, а перед глазами у меня, в темноте, мальченка этот, полусонный беззащитный; вполне в моих руках. Минутка—и нет мальчика! Хе-х,—думаю...

Это совсем ошарашило меня, с этим я уж никак не мог согласиться, и даже сам себя беззащитным мальчишкой чувствую. Вы подумайте-ко пристально: вот вы сидите и не можете знать, что я через минуту начну делать и я не знаю этого про вас. Вдруг,—ведь разное приходит в голову,—вдруг—вы меня, а то—я вас...? Очень сблизняет эта взаимная беззащитность. И—вообще—кто руководит нами? То—то-с...

— Утром пришел я в город и прямо—к судебному следователю: извольте меня арестовать, ваше благородие, как я есть вор. Оказался он очень хорошим баринком: ласковый, художавый такой, только глуповат, конечно. «Почему же,—спрашивает,—сознаетесь вы, с товарищами поссорились, добычу не поделили?» У меня,—говорю,—товарищей не было, работал один. И, сглупив, рассказал ему и подробно, вот как вам говорю, всю историю моего недоразумения, и как господин бог злобно играл со мною.

Перебив его речь, я спросил:

— Но почему же, Степан Ильич, бог, а не дьявол?

Старик уверенно и спокойно об'яснил:

— Дьявола нету. Дьявол это выдумка хитрого разума, это люди для оправдания гнусности своей выдумали, а также и в пользу бога, чтобы ему ущерба не нанести. Есть только бог, и человек,—больше ничего. И все, подобное дьяволу, примерно: Иуда, Каин, царь Иван Грозный, это тоже людские выдумки, это придумано для того ради, чтобы грехи и пакости множеств нагрузить на одно лицо. Уж—поверьте.. Хе-х, запутались мы, жулики, и все выдумываем что-нибудь хуже нас—дьявола и прочее. Плохи, дескать, да не очень, есть и похуже...

— Так, значит, следовательно. Картинки у него на стенах повешены и кругом домашний уют образованного человека. Лицо—доброе. Однако—доброе лицо ничего не значит, под этой вывеской, частенько, очень дрянным товаром торгуют. Го-

ворю я ему, а над головой у меня кто-то на рояли барабанит и так неприятно было слышать это легкомыслие. Хе-х, думаю, господин бог, как это у вас все не хорошо, запутано! Говорил я долго, следователь слушал меня, как старушка попа в церкви, однако, ничего не понял. „Вас, говорит,—конечно, надобно судить, но я ручаюсь, что оправдают Вас, если вы все мне сказанное и судьям скажете. И впереди, говорит, у вас не тюрьма, а, по-моему монастырь!“ Обидно стало мне. Ничего, говорю, вы не поняли и больше разговаривать не желаю. Н-ну, отправил он меня в полицию, а там пристали ко мне сыщики. Мы, говорят, знаем, что кражи, в которых ты сознался, не одним тобою сделаны, скажи нам, где товарищи? Затем—иди к нам на службу. Я, конечно, отказал им в этом, а они меня бить. Голодом морили. Тут я, действительно, потерпел несколько. Потом суд. Суд очень не понравился мне, говорить я с ними не пожелал. Рассердились судьи, закатали меня в тюрьму. Сижу в тюрьме, вокруг меня люди, подобные червям и зверям, выбрали они меня старостой. Хе-х, думаю, плохо все это, господин бог, очень плохо! Думаю и вижу: как ты ни живи человек, никто, кроме тебя, жизнью не руководит! Ну, о тюрьме, как о бородавке, ничего хорошего не скажешь. Вышел из тюрьмы, поглядел туда, сюда, пошатался по земле, стал работать на чугунном заводе,—бросил. Жарко. К тому же чугун, железо и всякий металл не люблю я—от него исходит вся тяжесть жизни, тяжесть, грязь и всякая ржавчина. Без металлов человек был бы проще, жил легче. Совался я в разные дела, даже сортиры чистил,—признаться, тянуло меня на самую грязную работу. Потом надумал: дай-ко пойду в банщики И вот уже семнадцать лет мою людей, да стараюсь ничем не тревожить их. В тревогах наших толку мало, нет в них толку, если серьезно поглядеть. Живу без бога, людей жалко, по причине оброшенности их, и жить мне скушновато...

Прочитав историю болезни Степана Ильича Прохорова, мы легко убеждаемся, что имеем дело с тяжелым случаем невроза, в основе которого лежит навязчивое представление, что «господин бог» особенно заинтересован Степаном (Прохоровым), сделал его «удачником» и одаряет его всеми благами. Однако, «господин бог» «хитрит», и удачи эти, как думает Прохоров, должны вести его в какую-то пропасть, которую приберег ему, Прохорову, тот же «господин бог». И, вот, Прохоров «мудрствует лукаво»: почему же он удачник, в то время, как вокруг него жестоко страдают люди, которые многим лучше его? Навязчивая идея, что он удачник и что за удачами его жизни

надо искать более глубокий смысл, чуть ли не умысел «господина бога», завладевает всем существом Прохорова, преследует его везде, и решил Прохоров пойти наперекор «господину богу» и искать неудачи. Таким образом, мы видим, что навязчивая идея удачи влияет не только на образ мыслей б-го Прохорова, но и на все его действия и поступки, и поиски неудачи бросают его в омут преступлений. Преступлениями Прохоров думает навлечь на себя кару правосудия и таким образом «удачи» превратятся в «неудачи». Дело кончилось бы плохо, если бы Прохоров не перестал верить в бога, а вместе с тем навязчивая идея об удачах поторяла питавшую ее почву. Убедившись, что «господина бога» нет, и руководит поступками человека не бог, а сам человек, Прохоров перестал думать, что его «удачи» имеют тайный смысл и начал жить так, как живут все психически здоровые люди: честным трудом Прохоров вылечился от своего невроза навязчивых состояний с его тяжелыми последствиями.

Более трагичен случай Меркулова. Меркулов—«большой», широкоплечий мужик лет сорока пяти, худощавое благообразное лицо,—такие лица называют иконописными. Длинная седая борода, курчавые волосы тоже седые, с висков—лысые взлизы, а по середине лба торчит рогом эдакий задорный вихор и несоответственно, противоречиво вихру, из глубоких глазниц мягко и жалостливо смотрят на меня умные серые глаза».

Так описывает внешность Меркуловаследователь Святухин, рассказывавший Горькому про Меркулова.

Тяжело выдохнув трупный запах—следователь умирал от рака желудка—Святухин нервно сморщил измученное землистое лицо.

Меня особенно смутило именно это выражение жалости в его взгляде—откуда оно? И мое равнодушие чиновника исчезло, уступив место очень беспокойному любопытству, новому и неприятному для меня.

На вопросы мои он отвечал глуховатым голосом человека, который не привык или не любит говорить много, ответы его были кратки, точны, было ясно, что Меркулов готов дать откровенное показание. Я сказал ему слова, которых не сказал бы другому подследственному:

Хорошее лицо у вас, Меркулов, не похожи вы на человеубийцу.

Тогда он, точно гость, взял стул, особенно крепко сел на него, уперся ладонями в колени и сразу заговорил, точно—глупое сравнение—на волынке заиграл, у волынки есть такая большая, глуховатая дудка, как фэгот.

— Ты думаешь, барин, если я убил, так я—зверь? Нет, я не зверь, и если ты почувал это, так я тебе расскажу судьбу мою. И рассказал спокойно, обреченно, так, как убийцы не говорят о себе—не оправдываясь, не пытаясь разжалобить».

Следователь говорил очень медленно и невнятно, его першавые губы, покрытые серой какой-то чешуей, шевелились с трудом, он часто облизывал их темным языком, закрывая глаза.

— «Мне хочется вспомнить его подлинные слова. В них была особенная значительность. Слова, поражающие... Этот его жалостливый взгляд меня тоже подавлял. Поймите: не жалобный, а—жалостливый. Он—меня жалел. Хотя я тогда был еще здоров...

Первый раз он убил при таких условиях: осенью, вечером вез с пристани сахарный песок в мешках и заметил, что сзади воза идет человек, распорол мешок, черпает сахар горстью и сыплет его в карманы себе, за пазуху. Меркулов бросился на него, ударил по виску,—человек упал.

— Ну, я его еще ногой пнул и поправляю распоротый мешок, а человек этот под ногами у меня лежит, вверх лицом, глаза вытаращены, рот раскрыт. Стало мне страшно, присел на корточки, взял его за голову, а она, тяжеленная как гиря, перекачивается у меня с ладона на ладонь и глаза его будто подмигивают, а из носу кровь течет, руки мои мажет. Вскочил я, кричу: батюшки, убил!

Отправили Меркулова в полицию, потом в тюрьму.

— Сижу я в тюрьме. Вокруг—люди преступные, а я будто сквозь туман все вижу и ничего не понимаю: страшно мне, не спится и хлеб есть не могу—все думаю: как же это? Шел человек по улице, стукнул я его,—и пет человека! Что-ж это такое? Душа-то где? Ведь не баран, не теленок он; он в бога верует, поди-ка, и хоть, может, характер у него другой, а ведь он таков же, как я. А я вот переломил его жизнь, убил, как скота все равно. Ведь эдак-то и меня могут стукнуть и пропал я! От этих мыслей так страшно было мне, барин, что ногами слышал я, как волосы на голове растут.

Рассказывая, Меркулов очень пристально смотрел на меня, но хотя его светлые глаза были неподвижны, мне казалось, что я вижу в серватых зрачках его мерцание ночного страха. Руки он сложил ладонями вместе, сунул их между колен и крепко сжал. Наказали его за нечаянное убийство легко, зачли предварительное заключение и отправили на покаяние в монастырь.

— Там,—рассказывал Меркулов, приставили ко мне старичка для научения моего: как надо жить; ласковый такой

старичек и о боге говорил он как нельзя лучше. Хороший. Вроде отца мне был: все сын мой, сын мой. Слушаю я его да нет-нет и спрошу: ладно, бог! А почему же человек настолько непрочен? Вот, говорю, ты, отец Павел, бога любишь и он тебя, наверно, любит, а, я, вот, ударю тебя—и убью, как муху. Куда же ласковая твоя душа тогда денется? Да и не в твоей душе задача, а в моей злой мысли: могу я тебя убить каждую минуту. Да и мысль моя, говорю, вовсе не злая, я даже очень ласково могу тебя убить. даже помолюсь сначала, а после—убью! Вот ты мне что об'ясни. Ну, он не мог об'яснить этого; он все свое говорил: «Это в тебе дьявол зверя будит! Он тебя тревожит». Я говорю: мне все едино, кто тревожит, а ты научи, как мне быть, чтобы не тревожило? Я,—говорю,—не зверь, ничего звериного нет во мне, а только душа моя за себя испугалась. «Молись, говорит, до изнурения!» Я—молюсь, иссох даже, виски седегь начали, а мне в ту пору было двадцать восемь лет сроку жизни. Молитва страха моего не может забыть, я, и молясь, думаю: как же это, господи? Вон—я могу в минуту любого человека смерти предать и меня любой человек может убить, когда захочется. Усну, а меня кто-нибудь шаркнет ножиком по горлу, а то кирпичем, бухом по голове. Гирей. Да—мало ли, как! От мыслей этих спать не могу, боюсь. Спал я в начале с послушниками, ночью пошевелится который из них,—я вскочу и—орать: «Кто возится? Лежите смирно, так вашу мать!» Все меня боятся, и я всех боюсь. Пожаловались на меня, тогда отравили меня в коношню, там с лошадьми стало мне спокойнее, лошадь—скот бездушный. Ну, все-таки, спал я вполглаза. Воязно.

Отбыв эпитимию, Меркулов снова взялся за работу извозчика, жил он на огородах, за городом, жил трезво, сосредоточенно.

— Как во сне живу—говорил он.—Все молчу, людей сторонюсь. Извозчики спрашивают: «Ты что, Василий, угрюмо живешь, али в монастырь собираешься?»—«Что мне монастырь? И в монастыре—люди, а где люди, там и страх. Гляжу я на всех, думаю: сохрани вас господь! Не прочна ваша жизнь, нет вам от меня защиты и мне от вас защиты тоже нет. Сообрази, барин, каково мне было жить с этакой тягой на душе?»

Вздохнув, Святухин поправил черную шелковую шапочку на голом черепе, матовом точно старая, трухлявая кость.

Вот тут, при этих словах, Меркулов усмехнулся, неожиданная, неуместная усмешка так перекривила, исказила его благообразное лицо, что я тотчас поверил: конечно, он—зверь, и, наверно, убивал людей вот именно с этой улыбкой. Мне стало нехорошо. А он продолжает и уже как будто с досадой:

— Хожу я между людей, вроде курицы с яйцом, а яйцо-то гнилое, и я про это знаю. Вот-вот лопнет оно в центре моем— что тогда будет со мной? Не знаю что, не могу придумать, а понятно мне: очень страшно должно быть...

Я спросил его: думал ли он о самоубийстве?

Помолчав, шевеля бровями, он сказал:

— Не помню, будто—ни разу не думал.

И тоже спросил, очень удивленно, кажется—искренно:

— Как я не вспомнил про это? Дивное дело...

Хлопнул ладонью по колену, взглянул куда-то в угол, бормочет, как бы обиженно:

— Ишь ты... Значит—не хотел я душе волю дать. Уж очень мучило меня любопытство ее к людям, трусость ее обидная. Забыл себя-то. А она—примеривается: ежели вот этого убить,—что будет? Да, примеривается все...

Через два года Меркулов убил полуумную девицу Матрешу, дочь огородника. Он рассказал мне об этом убийстве неясно, видно сам не мог понять мотивов убийства. По его словам выходило, что Матреша была блаженная.

— Находило на нее затмение разума: вдруг бросит копать гряды или полоть и куда-то идет, разинув глаза, усмехаясь, будто кто невидимо поманил ее за собою. Натыкается на деревья, заборы, на стены, словно сквозь хочет пройти. Однажды наступила на железные грабли, пронзила ногу, кровь из ноги течет, а она шагает, ничего не чувствуя, не сморщилась даже. Была она девица некрасивая, толстая, а распутна по глупости своей, сама к мужикам приставала, а они, конечно, пользовались глупостью ее. Ко мне тоже приставала, ну, мне было не до того. Соблазняло меня в ней то, что ничего с ней не делается: в яму ли свалится, с крыши ли упадет,—ей все нипочем. Другой бы руку вывихнул, сломал себе какую-нибудь кость, а она—ничего. Как будто не по земле ходит. Конечно, в синяках в ссадинах вся, а—прочности необыкновенной. Было похоже, что живет полудурья эта в твердой охране. Убил я ее при людях, в воскресенье. Сидел я на лавочке у ворот, а она начала заигрывать со мной нехорошо, тут я ее—поленом. Свалилась. Гляжу—мертвая. Сел на землю около нее и даже заплакал: что это, господи? Какая слабость, какая беззащитность?

Он долго, тяжелыми словами и как в бреду говорил о беззащитности человека и в глазах его разгорелся угрюмый страх. Сухое лицо аскета потемнело, когда он сказал мне сквозь зубы:

— Ты подумай, барин, ведь вот я в эту минуту самую вдруг могу тебя убить, а? Подумай-ко? Кто мне запретит? Где запрет нам? Ведь нет запрета нигде, ни в чем нет...

Наказали его за убийство девицы тремя годами тюрьмы, он объяснил легкость наказания хорошей защитой, но защитника своего упрямо осудил:

— Молодой такой, лохматый крикун. Кричал все: „Кто может сказать худое про этого человека? Никто из свидетелей ни слова не сказал. А убитая была безумна и распутна“. Защитники эти—баловство. Ты меня до греха защити, а когда я грех сделал, убил,—защита мне не надобна. Держи меня покамест я стою, а коли побежал—не догонишь! Побежал, так уж буду бежать, покуда не свалюсь, да... Тюрьма—тоже баловство, безделье. Распутство. Из тюрьмы вышел я, как сонный,—ничего не понимаю. Идут люди, едут, работают, строят дома, а я одно думаю: любого могу убить и меня любой убить может. Боязно мне. И будто руки у меня все растут, растут, совсем чужие мне руки. Начал пить вино—не могу, тошнит.

Выпимши—плачу, уйду куда потемнее и плачу: не человек я, а помешанный и жизни мне нет. Пью—не пьян, а трезвый хуже пьяного. Рычать начал; рычу на всех, отпугиваю людей, боюсь их. Все кажется мне: я—его, или он меня? И хожу по земле, как муха по стеклу, лопнет стекло и провалюсь я, полечу неизвестно куда.

— Хозяина, Ивана Кириллыча, убил я тоже по этой причине, из любопытства. Был он человек веселый, добрый человек. И необыкновенной смелости. Когда у соседей его пожар был, так он, как бессмертный, действовал: полез прямо в огонь, няньку вывел, потом опять полез, за сундучком ее—плакала нянька о сундучке своем.

Счастливым человеком был Иван Кириллыч, уюком его господи! Мучить я его действительно, мучил. Тех двух—сразу, а этого маленько помучил: хотелось понять, как он: испугается, али нет? Ну, он был слабый телом и скоро задохся. Прибежали люди на крик его, бить меня, связать. Я говорю им:

— Вы мне не руки, вы душу мне связали бы, дураки...

Кончив рассказывать, Меркулов вытер ладошью вспотевшее лицо и посоветовал спокойно:

— Вы меня, ваше благородие, судите строго, на смерть судите, а то—что же? Я с людьми и в каторге жить не могу, обиделся я на душу мою, постыла она мне и—боязно мне, опять я начну пытать ее, а люди от того пострадают... Вы меня, барин, уничтожьте...

Мигнув умирающими глазами, следовательно сказал:

— Он сам уничтожил себя: удавился. Как-то необычно, на кандалах черт его знает как! Я не видел, мне рассказывал товарищ прокурора: большая — сказал — сила воли нужна была, чтоб убить себя так мучительно и неудобно. Так и сказал — неудобно.

Потом, закрыв глаза, Святухин пробормотал:

— Вероятно, это я внушил Меркулову мысль о самоубийстве... Вот, батенька, простой русский мужик, а — извольте видеть? Да-с...

Меркулов заболел душевно после того, как он нехотя самым неожиданным для себя образом убил человека. С тех пор преследует его навязчивая идея о непрочности человеческой жизни и навязчивый страх, что в любой момент он может убить человека или могут его убить. Желая избавиться от навязчивой идеи непрочности человеческой жизни, Меркулов время от времени «делает эксперименты» с людьми, которые кажутся ему особенно сильными и «бессмертными», и, конечно, убивает их. В результате навязчивый страх смерти от руки людей усиливается, и Меркулов боится людей: «... где люди, там и страх». Навязчивый страх не оставляет Меркулова до дня его смерти, и надо думать, что именно он и был основной причиной его самоубийства.

Несмотря на то что фобии или навязчивые страхи, как мы уже упомянули выше в начале этой статьи, весьма распространены и не представляют для психиатра исключительного интереса, случай Меркулова как единственный в своем роде, заслуживает особенного его внимания. Здесь мы знакомимся с механизмами развития такого своеобразного навязчивого страха, как страх быть убитым первым встречным или убить первого встречного. Интересен этот случай еще постольку, поскольку больной разворачивает перед нами полную картину зарождения и развития его болезни. Что случайно совершенное убийство может повести человека к болезненному мудрствованию о непрочности жизни человека, а в связи с этим к неврозу навязчивых состояний и человекоубийству, посящему впоследствии характер садизма, трудно себе а priori представить, и звучит даже самый факт несколько невероятно. Вот почему знакомство со случаем Меркулова должно особенно заинтересовать всякого психиатра, желающего быть всесторонне знакомым и глубоко посвященным в вопросы невроза навязчивых состояний. Изучивши Меркулова, он может себя считать более или менее иммунизированным против возможных сюрпризов в этой области психиатрии, принадлежащей к повседневной его врачебной практике.

